
АЛИСА МОРИНА
СЛОВО · ПЕЧАТЬ · НАСЛЕДИЕ
ДОЛГ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
КРОВЬ
НАСЛЕДИЕ
ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ДОЛГ КРОВИ
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
КРОВНЫЕ УЗЫ ОБЯЗЫВАЮТ
РОД ВЕРИЦКИХ
ДОМ ГОВОРИТ, ПОКА ГОВОРИТ ЕГО ПЕЧАТЬ

Алиса Морина

Род Верицких #3. Долг крови

«Автор»
2026

Морина А.

Род Верицких #3. Долг крови / А. Морина — «Автор», 2026

Долг не исчезает, если о нём сорок лет молчали. Право не становится чистым от восьми безупречных переходов. А кровь на старом олове помнит больше, чем домашний архив.В Корпусе я нашёл старую запись, которую в доме предпочли забыть. Через несколько дней её предъявили официально: обязательство сорок первого года, восемь переходов права и четырнадцать дней на ответ. В перечне — земли, мельницы, вассальные права и будущий голос дома.Хуже всего то, что долг настоящий.Значит, спорить придётся не с ним, а с тем, кто пришёл взыскивать. За сорок лет честная цепочка должна обрасти оговорками, потерянными листами и чужими руками. Эта слишком чистая.В прошлой жизни я искал чужой доступ по логам. Здесь ищу его в сургуче, старом олове и строках, которые никто не перечитывал десятилетиями.Только в этот раз мало найти чужую ошибку. Внутри долга живут люди, а одна неверная формулировка может стоить дороже мельницы.Дом Верицких должен. Вопрос только — кому, чем и какой ценой.

© Морина А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Предъявление 5
Глава 2. Не вся грязь чужая 12
Глава 3. Цена имени 20
Глава 4. Кто имеет право взыскать 26
Глава 5. Чистая бумага 33
Глава 6. Старый получатель 40
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Алиса Морина
Род Верицких #3. Долг крови

Глава 1. Предъявление

Матвея я услышал раньше, чем увидел.

Внизу спросили, к кому. Ответили с задержкой, какая бывает у ехавших долго и добиравших последние вёрсты, считая по столбам. Потом на лестнице пошли два шага: один тяжёлый, второй короче. Правую ногу он бережёт с зимы. В доме об этом знают все, кроме него.

Я успел сдвинуть чернильницу. Убрать список не успел.

Список лежал у меня сорок с лишним дней. Начал я его на другое утро после приезда в Корпус, когда стало ясно, что спросить некого. Дописывал по строке, по две. Иногда вычёркивал написанное накануне. К последней неделе в нём стояло двадцать восемь вопросов. Первые четыре я знал наизусть, порядок остальных помнил приблизительно.

Он вошёл, не постучав, и остановился в дверях.

Дорожное на нём стояло колом от подола до пояса. Он не обил грязи с сапог ни во дворе, ни на лестнице. Грязь на нём лежала тремя слоями с трёх разных дорог: рыжая, серая и почти чёрная. Ехал без остановок, и дольше, чем следует в его годы.

— Проверяющий съехал двадцатого. Я выехал в тот же день, к полудню.

— Трое суток.

— Трое.

Час приезда я записал. Завёл эту привычку в хранилище и не бросил. Запись обходится дешевле памяти. Памяти к вечеру верить нельзя. Он подождал, пока я допишу, и не спросил, что я пишу.

— Дом цел. Варвара Тихоновна держит короба под замком, я велел не трогать до меня.

— Долго вам обратно?

— Трое суток. Выеду вечером.

Он посмотрел на список. Я видел, как он смерил его глазами по длине. В лице у него ничего не переменилось.

Я думал об этом разговоре с середины прошлого месяца. Думал столько, что к концу уже только повторял. Начать надо было с четвёртого вопроса: первых трёх он мог не знать. Без них остальные пошли бы мимо. Потом я решил начать с первого, иначе выйдет, что я его проверяю. Потом решил, что порядок не важен.

Я убрал список в ящик и достал выписку.

— Сядьте.

— Постою.

Выписку я разложил длинной стороной к нему и придавил верхний край чернильницей. Правая держит лист минуты две, дальше начинает ползти. Я придержал угол правой. Вести стал левой.

Столбцов в выписке четыре: кто, кому, за что, чем обеспечено. Я прошёл по первому пальцем до половины и остановился.

Он читал сверху, через стол, вверх ногами. Так читают писаря и приказчики при чужом плече.

— Дальше, — сказал он.

Я довёл палец до четвёртого столбца. В строке против нашего дома стояло одно слово. Слово было не про деньги.

Кровью.

Он не переспросил. Он смотрел туда, куда я показывал, и губы у него шли беззвучно.

Я перевёл палец выше, на родословную. Между вторым и третьим коленом шёл прочерк.

Прочерк ставит писец, когда сведений нет и он об этом сообщает. Пропуск выглядит иначе, оборванная строка тоже. В хранилище я видел такие у трёх домов. У всех трёх рядом стояла пометка: откуда брали сведения и почему не взяли.

Тут пометки не было.

— Вы писали, что за годы до деда описи у дома нет вовсе.

— Нет её. Короба идут с того года, как принял дела Степан Ильич.

— А такое вы где-нибудь видели?

Он молчал дольше, чем молчат перед «нет».

Я ждал. Сорок с лишним дней я ждал этого человека. Теперь ждал ещё полминуты, и полминуты шли тяжелее всех сорока.

— Читайте до конца, — выговорил он наконец. — Там ещё оборот.

Он перевернул лист сам, левой, придержав его на весу. Читал долго. За окном прошли на смену, и я слышал, как считают на плацу. Сбились на четвёртом десятке и начали заново.

Стул стоял у него за спиной. Я придвинул его ещё в начале, носком сапога, чтобы не вставать.

Он дочитал и не сел.

Постучали, когда он ещё стоял с листом.

Стучат в Корпусе по-разному, и разницу выучиваешь к третьей неделе. Служитель бьёт костяшкой раз и входит. Наставник не стучит вовсе. Этот стук был в три удара, с промежутком, и после третьего за дверью подождали.

— Открыто.

Вошли четверо.

Первым — человек в тёмном, лет сорока, без герба на вороте. За ним двое, у которых на воротах гербы были, и оба чужие. Последним — писарь с доской и с прижатым к доске листом. Он занял подоконник, не спросив, и начал писать раньше, чем кто-нибудь заговорил.

В комнате моей помещаются двое. Стоя — четверо, и то не разводя локтей. Нас стало шестеро, и Матвей сделал от стола полшага в сторону, чтобы не мешать.

— Родион Андреевич Верицкий?

— Он самый.

— Поверенный по делу. Предъявляю дому Верицких обязательство сорок первого года, с обеспечением. Прошу принять.

Он подал лист двумя руками. Я принял так же. На этом вежливость кончилась, дальше пошла форма.

Форму я выучил в Палате, а потом ещё раз в Корпусе, и оба раза не даром. Форма — единственное, что работает одинаково для сильного и слабого. Ей всё равно, кто ты. Она спрашивает, всё ли на месте.

Я развернул лист на столе.

Правая ползёт через минуту, и я подложил под неё выписку, чтобы не дрожало на весу. Читать я начал не с текста. Сначала печати.

— Печать приказная, оттиск полный, — называл я вслух. — Печать домовая, край смазан. Смазан при наложении.

Писарь поспевал. Перо у него шло мелко и без остановок.

— Подписи. Поверенный. Свидетель. Второй свидетель.

Я называл и считал другое. Сколько у меня минут, пока они стоят и ждут. Пока называешь печати, ты не молчишь и не отвечаешь. Молчание в такой комнате заносится наравне с ответом, и заносится хуже.

Печати были в порядке. Все.

Я поднял глаза на поверенного. Он не торопил и не смотрел в сторону. Такая выдержка приходит от расписанного дня, где на это дело отведён свой час.

— Обеспечение. Прочтите вслух, как оно записано.

— Кровью.

Слово прошло по комнате и осело. Один из свидетелей переступил. Второй не двинулся.

Я посмотрел на Матвея. Матвей смотрел на стол.

— Число предъявления, — повернулся я к писарю. — Двадцать третье. Занесите.

— Занесено, — ответил писарь, не поднимая головы.

— Со дня предъявления включительно, — добавил поверенный. — Две недели. Пятое число третьего месяца.

Он назвал срок и не прибавил ни слова о том, что будет после. Грозят с объяснениями. Этот считал, что я умею считать сам.

Я и умел.

Четырнадцать дней. Письмо домой идёт трое суток. Ответ — ещё трое. Если завтра спросить Варвару о чём-нибудь, ответ придёт к восьмому дню, и это в лучшем случае, и только если она ответит сразу.

— Принято.

Больше я не сказал ничего. За ту минуту правильно можно было сделать одно: принять предъявленное и расписаться в том, что принял. Ни признания, ни отрицания.

Я расписался левой.

Поверенный посмотрел на руку. Потом снова на лицо. За те полсекунды он успел решить обо мне что-то и решённого не показал.

— Перечень требований, — сказал он. — Читать?

Бумага лежала у меня под ладонью, развёрнутая, с полным оттиском и смазанным краем домовой печати. Матвей второй час не садился.

— Читайте.

Читал он в один тон, не понижая голоса к концу строки.

Такой голос слышишь у тех, кто читает чужое каждый день. В нём нет ни угрозы, ни сочувствия. По нему не понять, длинный впереди перечень или нет.

Перечень был недлинный.

Сначала пошло имущество. Земли за рекой, две мельницы, доля в перевозе. Названо с обмером и с годом описи. Обмер сходился с тем, что я знал. Кто-то поднял наши росписи, и поднял недавно.

Матвей чуть двинул плечом. Мельницы он ставил сам, при Степане Ильиче.

Потом пошли вассальные права. Три двора, из которых два уже перестали быть нашими к моему приезду, и один остался. Про этот один поверенный прочёл отдельной строкой.

Я слушал и ждал третьего.

Ждал я его потому, что порядок в таких перечнях не случаен. Кто составляет требование, тот кладёт лёгкое вперёд. Читающий решает, что вес уже понял, и к тяжёлому подходит с готовым лицом.

Третьим он прочёл будущий голос дома.

Прочёл теми же словами и тем же голосом. Паузы не сделал ни перед, ни после.

— Стойте.

Он остановился. Писарь поднял перо.

— По форме. Прошу читать медленнее и заносить дословно. Каждое слово. Начиная с этого пункта.

— Имеете право.

Он вернулся на строку назад и начал заново, вдвое медленнее. Я повторял за ним вслух, для писаря, и на третьем слове писарь попросил остановиться.

— Повторите, — попросил он меня.

— «Право дома подавать голос по установлению».

— «По установлению»?

— По установлению. Два слова.

Он записал и кивнул. Я дождался, пока перо дойдёт до конца строки, и только тогда велел читать дальше.

Это заняло у нас четверть часа на шесть строк. Поверенный не выказал нетерпения ни разу: ни вздоха, ни взгляда в окно. Я просил повторить — он повторял.

Тут я и понял, что он не спешит нарочно.

Человек, которому нужно скорее, отдаёт перечень списком и уходит. Этот читал вслух при свидетелях и дал занести дословно. Мог не давать. Право у меня было, но настаивать пришлось бы до вечера.

Значит, запись нужна была и ему. Зачем — я не знал.

Я запомнил это и отложил. Таких отложенных мест у меня к весне набралось четыре, и три из них потом пригодились.

— Всё, — выговорил он, дочитав.

Четверть часа назад у дома было имущество, два двора и будущее. Теперь всё это стояло в одном требовании и стояло по возрастанию. Землю можно вернуть. Люди уходят и приходят. Голоса у дома ещё нет вовсе.

Отнимать собираются то, чего нет.

— Занесено? — спросил я.

— Занесено, — отозвался писарь.

— Дословно?

Писарь поднял на меня глаза. Ему было лет двадцать, и он ещё не привык, что его переспрашивают.

— Прочтите.

Он прочёл. Прочёл всё, с «по установлению» на нужном месте, и ни одной строки не сгладил.

Запись стала общей. Через месяц все в этой комнате будут помнить сегодняшнее по-своему, и спорить мы будем уже не с памятью. Это и есть вся выгода, какую я получил за четверть часа.

Матвей молчал.

За весь перечень он не переменился в лице. Я знаю за ним это с зимы: чем хуже новость, тем меньше в нём видно. У кого-то лицо работает наоборот, и с такими легче.

Плечом он двинул один раз. На мельницах.

— Копию перечня.

Поверенный посмотрел на писаря. Писарь посмотрел на свой лист и не поднял головы.

— Писарь мой, — ответил поверенный. — Он ведёт запись. Второй руки у нас нет.

Значит, копии не дадут. Дадут право снять её самому, при них и сейчас. Уйдут они со своим, и у дома не останется ничего. Кроме памяти, а память к вечеру врёт.

— Тогда сниму сам. Прошу подождать.

— Ждём.

Я сел. Перо лежало справа, где ему и место у всякого, кто десять лет писал правой.

В Палате я брал его правой не думая. Потом была сушильня, и с той ночи прошло двадцать семь дней. Пальцы слушаются так: держат без нажима, а с нажимом перестают. Перо без нажима не идёт.

Я взял перо левой.

Первую строку я вывел медленно. Буквы вышли крупные. Они у меня теперь крупнее прежних и, если не спешить, чище: левая не помнит старой скорости и оттого не срывается.

Перечень шёл шестью строками, и списывать его надо было всё.

— Год описи по мельницам, — попросил я, не поднимая головы. — Повторите.

— Сорок девятый.

— Двор в записи как назван?

Он назвал. Я переспросил написание, потому что в двух коленах это имя пишут по-разному, и не та буква в записи через месяц стоит дороже мельницы.

Он повторил по буквам. Не поторопил.

Матвей у меня за плечом переступил и набрал воздуху.

— Не надо, — обронил я, не оборачиваясь.

Он послушался.

Тут дело не в гордости. Копия, писанная чужой рукой, при споре весит меньше: чужая рука — ещё одно место, куда бьют. Я знал это с Палаты. Объяснять такое вслух при четверых значит показать, что объяснение мне нужно.

Строчка шла за строчкой.

Свидетель у двери переступал каждые полминуты, и я считал это, как считают капель. Второй не двигался вовсе. Писарь дописал своё и уставился в окно.

Один поверенный смотрел на меня.

Я поймал это на четвёртой строке. Он смотрел не в лицо. Он смотрел на руку — на левую, которая писала, и на правую, которая лежала на колене и в работе не участвовала.

Смотрел он спокойно и без всякого удовольствия. Так смотрят, когда заносят в память.

И занесёт он туда не «увечен». Он занесёт, что дом Верицких пишет левой, потому что правая не служит; что писать некому, кроме наследника; что человека, которому можно доверить бумагу, в этой комнате нет.

Всё это верно.

Я дописал до конца, проверил числа, проверил имя двора и поставил снизу число двадцать третье.

— Готово.

— Сверим, — предложил поверенный.

Мы сверили. Он читал вслух по своему листу, я вёл пальцем по своему. Одно слово у меня выпало, и он назвал его первым, раньше, чем я успел заметить.

— «Установление» пропущено.

Я вписал. Ошибка вышла у меня, и поймал её он.

— Ещё раз.

Прошли ещё раз. Больше расхождений не нашлось.

Он подождал, пока чернила подсохнут, и только потом протянул руку за своим листом. Лист я отдал.

Свою копию я не стал складывать вчетверо. Сложил вдвое и убрал под выписку, чтобы не мялась на сгибе: бумагу, которую ещё год носить и разворачивать при чужих, ломать по одной складке нельзя.

Поверенный отвёл взгляд от моей руки и больше на неё не смотрел.

Писарь начал собирать доску.

У меня оставалось время, пока он собирает. Запись открыта, пока перо не убрано. Всё сказанное до этой минуты ложится в тот же лист, что и предъявление. Дальше пойдёт новый, а новый заводят не сегодня.

Я мог не спрашивать.

Мог довести их до двери, закрыть за ними и спросить Матвея наедине. Так было бы легче, и ответ я услышал бы тот же. Разница в одном. Сказанное без свидетеля я потом пересказываю сам. Пересказ стороны в Присутствии не весит ничего.

Ответ мне нужен был не для себя.

— Матвей Савельевич.

Он поднял голову.

— При свидетелях и под запись. Вы служите дому тридцать первый год. Принимал ли дом Верицких то обязательство?

В комнате стало тихо иначе, чем было тихо до того.

Писарь остановил руку над доской. Перо осталось у него в пальцах, а собирать он перестал. Свидетель у двери в первый раз за час замер. Поверенный держался, как с самого начала.

Я смотрел на Матвея и знал, что делаю.

Скажет «нет» — у меня будет своё слово против их требования, и слово это будет ложью, а ложь они разберут за три недели. Скажет «не помню» — запишут «не помнит», и прочтут это как «помнит и молчит».

Оставался третий ответ, и он был худший из всех.

Матвей молчал недолго. Столько, сколько нужно человеку, чтобы решить, как сказать.

— Принимал.

Перо писаря пошло.

— Поясните. Что именно вы помните.

— Я при том не был. Я в дом пришёл много позже. — Он говорил в стол, не мне. — Помню, что при Степане Ильиче про это поминали дважды. Один раз с деньгами, другой при разборе коробов. Обязательство было. Что в нём стояло, я не читал и сказать не могу.

— Вы не читали.

— Нет. Того, кто читал, в дому теперь нет.

Вот это была граница. Он подошёл к ней и остановился сам, не дожидаясь, пока я спрошу дальше, и я его дальше не повёл.

— Занесено? — спросил я.

— Занесено, — отозвался писарь.

— Прочтите.

Он прочёл. Прочёл всё, включая «я при том не был» и «сказать не могу». Слова эти в записи стояли рядом со словом «принимал», и рядом они значили меньше, чем поодиночке. Меньше — но довольно.

Поверенный свернул свой лист и убрал во внутренний карман. Он не сказал ни «благодарю», ни «до срока». Он поклонился так, как кланяются в Корпусе старшему по положению. Я поклонился в ответ. Не поклониться было бы мелко.

Они вышли. Последним ушёл писарь, и он всё-таки посмотрел на меня от двери.

Я остался с двумя листами.

Один — копия перечня, писанная левой, с вписанным «установлением». Другой — та самая выписка, с прочерком и со словом «кровью» в четвёртом столбце. Обе лежали на столе, и лежали они об одном.

Долг был.

Без «может быть» и без «говорят». Подтвердил его наш человек, при их писаре, под запись, которую теперь не отозвать.

С этого я и должен был начинать.

Всё, что я умею делать с бумагами, работает только тогда, когда я знаю, где стоять. Отрицание закрылось сегодня, в моей комнате и моим вопросом. Другого способа не было. Пока я не спросил, оно оставалось открытым, и я бы за него взялся. Всякий бы взялся.

— Мне бы выехать засветло, — сказал Матвей.

За окном был ещё день, и день этот шёл первым из четырнадцати.

Дорога по распутице в его годы обходится тяжелее, чем он скажет. Весь разговор он перекладывал вес с ноги на ногу и ни разу не сел, хотя стул стоял придвинутый с первой минуты.

— Выедете утром. По темноте там не проехать: размыло сейчас везде.

Он не спорил. Это сказало мне о дороге больше, чем сказал бы он сам.

— Короба поднимайте по годам. Начните с сорок первого и ведите к нам, а не от нас.

— От сорок первого к нам, — повторил он.

— И ещё. Всё, что найдёте с прочерками, переписывайте целиком. Даже если строка пустая.

Он кивнул и пошёл к двери. В дверях остановился и взялся за косяк, поворачиваясь.

— Родион Андреевич. Я тридцать первый год хожу мимо тех коробов.

— Знаю.

— Я их не открывал.

— Теперь откроете.

Он вышел. На лестнице пошли два шага — один тяжёлый, второй короче, — и потом внизу спросили, кому подавать.

Дом стоял без управляющего четвёртые сутки и простоит ещё четверо: ночь до выезда и трое суток дороги, если тракт не станет хуже.

Я сел и придвинул чистый лист. Четырнадцать дней шли уже второй час, и первое, что в них надо было сделать, — разобрать перечень по частям.

Писать я стал левой.

Глава 2. Не вся грязь чужая

Спал я часа три. Разбудило меня то, что в коридоре загремели вёдрами.

Матвей ночевал за перегородкой, у старшего служителя. Сквозь перегородку слыхать было, как он поднялся раньше меня. Кому к полудню в дорогу, тот спит тем хуже, чем нужнее выспаться.

Лист я выбрал большой, обёрточный. Другого такой ширины в Корпусе не купишь.

Расчертить его надо было на пять граф. Линейку я приладил левой. Лист придавил чернильницей с одного края и локтем с другого. Первая линия всё равно поехала вниз на палец. Вторую я вёл медленнее.

Графы надписал сверху: кто, кому, за что, чем обеспечено, кто наследует.

Этим порядком разбирают всякую запись. Им же я разбирал её в хранилище, пока хранилище не закрыли до осени. Запись, которую не разложили на части, читается целиком и убеждает целиком. Разложенная перестаёт убеждать. Она начинает отвечать.

Копию перечня я положил слева.

Первая запись пошла в «кто»: дом Верицких, по обязательству сорок первого года. Я переписал её и отметил, откуда взял.

Дальше пошло само.

Кому — получатель назван лицом, не домом. То же имя стоит первым коленом в выписке сорок первого года, и оба написания совпадают до буквы.

Кто наследует — тут расписано на восемь переходов. Идут они подряд, годы проставлены, каждый следующий держатель назван полностью.

В нашей выписке на этом месте прочерк.

Четыре колена, каждое под предыдущим, и между вторым и третьим пусто. Я списал в графу и то и другое — их восемь переходов и наш прочерк, — а между ними оставил просвет в палец.

Четыре графы заполнились до половины листа.

Матвей вошёл, когда я дописывал последнюю. Стукнул костяшкой, хотя дверь стояла приотворённая, и остался у притолоки, пока я не показал на стол.

— Пишете.

— Раскладываю. Садитесь.

Он присел и навис над листом, упершись ладонями в край. Читал сверху вниз, по графам, и на просвете между их переходами и нашим прочерком запнулся.

— Это у них, — пояснил я. — А это у нас. Одно и то же место.

— Вижу.

Больше он не сказал ничего, и я не стал спрашивать. Вчера он читал выписку целиком, вместе с оборотом, и прочерк этот видел своими глазами. Спрашивать человека о том, что он вчера прочёл, — значит получить обратно прочитанное.

— Четвёртая графа, — продолжил я. — Чем обеспечено.

В неё шло одно слово. Я переписал его вчера в перечень, а сегодня переписал второй раз. Кровью.

Одно слово в верхней строке, и под ним место на четыре разбора: кто даёт, что даёт, когда наступает, чем меряется.

Больше в перечне об этом не было ничего. Обычное обеспечение расписывают пунктов на пять, потому что спорить потом будут именно по ним. Тут спорить было не по чему.

Я попытался разнести его по тому же порядку, что и прочее. Кто даёт. Что даёт. Когда наступает. Чем измеряется.

Перо встало на первом же вопросе.

Дать кровь может дом, может лицо, может линия — в перечне не сказано. Про случай молчание. Про меру молчание тоже, и вот это было хуже всего. Всякое обеспечение на свете чем-нибудь меряется, иначе по нему не взыщешь.

— Мельницы мерили. В перечне у них обмер и год описи.

— Я их и мерил.

— А это чем?

Он глядел на белую прогалину. Смотрел дольше, чем требует короткое слово.

— Не скажу.

— Не знаете или не скажете?

— Не знаю. — Обиды в голосе не было. — Сказал бы, если б знал.

Я вывел на полях: мера не названа. Отметил для себя. Отметка держится дольше памяти и к вечеру не переменится.

Под верхней строкой в четвёртой графе так и осталось чисто.

Остальные стояли заполненные, с пометками об источниках, и выглядели работой. Эта — одно слово сверху и белое место до самого низа.

Я оставил её как есть.

Заполнять пустое место догадками — то самое, за что я ломал чужие бумаги в двух прежних делах. Со своей я этого делать не стану. Пустое место надо уметь оставить пустым и вернуться, когда будет чем заполнить.

До полудня оставалось два часа с небольшим.

Лист лежал между нами лицом кверху, и закрывать его было поздно.

Стул под Матвеем взвизгнул на две ноты. Прежде он простаивал весь разговор при том же придвинутом стуле. Сегодня сел с первого слова, и этого хватило, чтобы я понял про дорогу больше, чем узнал вчера.

— Пойдём по графам, — предупредил я. — На каждый спрошу по одному вопросу. Отвечайте, что помните. Чего не помните, говорите прямо.

— Спрашивайте.

Порядок у меня был готов с ночи.

Спрашивать следует так, чтобы вопрос не подсказывал ответа. Наука не хитрая. Ломает её всякий, кто торопится: подставил в вопрос половину ответа и получил обратно свою же половину с чужой подписью под ней. В хранилище я этим испортил два разбора по расходной книге. Впредь не порчу.

— Дом Верицких, — начал я. — То обязательство. Слышали о нём?

— Слышал.

— От кого?

— При Степане Ильиче говорили. Не мне, при мне.

— Сколько раз?

Он прикинул.

— Два.

— При каком случае?

— Первый раз при деньгах. Считали и упомянули. Второй — когда короба разбирали, годов двадцать назад.

Занёс я и это, хотя в столбец оно не шло. Случай, при котором о чём-то вспоминают, говорит иногда больше самого сказанного: о долге вспоминали, когда считали деньги и когда трогали короба.

Я поставил отметку на полях первой графы. Пометил и другое: говорили не ему. Он слышал, стоя рядом. Разница тут большая, и в Присутствии её разбирают прежде прочего.

— Вторая. Кому дано.

Тут я остановился сам.

Спрашивать его об имени было поздно. Вчера он читал выписку целиком, имя стоит в ней первым коленом, и всякий ответ теперь придёт оттуда, а не из памяти. Прочитавший имя на бумаге через день пересказывает его как своё воспоминание и не врёт при этом. Я видел это в Палате дважды, и оба раза на честных людях.

Значит, спрашивать надо не о бумаге.

— Имя вы вчера прочли, — сказал я. — Я не о нём. В доме его когда-нибудь произносили? При вас, при ком угодно, по какому угодно случаю?

Он раздумывал дольше, чем над прежними вопросами.

— Нет.

— Ни разу за все ваши годы в доме?

— Ни разу. Говорили «тому», «тому дому», «по той бумаге». Имени в доме не произносили.

Отметки не вышло, и это было лучше отметки.

Имя написано в двух бумагах разом — в нашей и в их, — и оба написания сходятся до буквы. А при человеке, который тридцать первый год ведёт этот дом, оно не прозвучало ни разу.

— Третья. За что дано.

— По данному и принятому, — повторил он с листа.

— Это я прочёл. Что говорили в доме?

Отозвался он не вдруг.

— Что взяли на дом, чтобы своих не разобрали.

Перо у меня дёрнулось, и на «своих» вышла клякса. Я промакнул её краем сукна и не стал переписывать: пусть стоит там, где стоит, и напоминает, где я сбился.

— Кого разобрать?

— Людей. — Он глядел мимо меня, в оконный переплёт. — Больше не скажу, Родион Андреевич. Это уже не то, что слышал. Это то, что я себе за тридцать лет надумал.

— Надуманное не берём.

— Не берите.

Вторая отметка. Против неё я приписал: «слышано, за что — общими словами».

— Пятая. Кто наследовал право после получателя.

Он молчал.

— Не знаю, — ответил наконец. — Я в дом пришёл много позже. Кто у них там наследовал, мне откуда.

Отметки не было.

— Четвёртую вы уже сказали. — Он наклонил голову, и на этом мы кончили.

Я отодвинулся вместе со стулом и охватил взглядом все пять граф разом.

Две отметки на пять граф.

Означали они вот что. Дом это обязательство принимал. Брал его на себя, чтобы удержать своих людей. Ни одна из двух не помогала: обе подтверждал сам дом своей памятью, и обе стояли за взыскателя.

Три графы без отметки означали хуже.

Имя получателя написано в двух бумагах разом и при Матвее в доме не прозвучало ни разу. Меры обеспечения не знает никто из нас, и у них её нет тоже: в той графе одно слово и пусто под ним. Про наследование у них расписано восемь переходов, с годами и полными именами, а у нас на том же месте прочерк.

Пустых граф, если считать по-честному, ни одной: в каждой что-нибудь написано. Незаполненных мест — три, и все три в тех местах, где должно стоять доказательство.

— Мало вышло, — заметил Матвей.

— Вышло достаточно. Знать, чего мы не знаем, — половина работы.

Сказал я это ему, а слушал себя.

Вторая половина в том, чтобы не заполнять пустое тем, что удобно. У меня к этому часу лежали три готовых объяснения, почему наследование могло быть порочным, и все три я придумал сам, за столом, без единой бумаги под рукой.

Я перечеркнул их все и написал сверху: «проверить у чужих».

Дальше я собирался искать нужду.

С этого начинают всегда. Если дом взял на себя тяжёлое, значит, в тот год ему было худо, и худо это где-нибудь записано: недоимка, падёж, пожар, суд. Найди беду — и обязательство перестанет быть виной. Станет бедой, а за беду не судят строго даже в Присутствии.

Искать было не в чем.

— Расходные книги тех лет, — начал я и остановился сам.

Ответ он мне уже написал. В Корпус, девять дней назад, под самый конец письма: за годы до деда описи у дома нет вовсе, короба идут с того года, как принял дела Степан Ильич.

— Нет, — подтвердил он всё-таки. — Не с чего смотреть.

— Знаю. Забыл на минуту.

Забыл я не от усталости.

Забыл я потому, что мне очень хотелось отыскать книги. Человек с бумагами так же слаб, как всякий другой: он ищет ту бумагу, которая ему нужна, и первым делом заглядывает туда, где её нет.

Я пододвинул копию перечня.

Годы описи стояли там при каждой статье. Земли за рекой — свой год. Мельницы — свой. Доля в перевозе — свой. Кто-то поднял наши росписи и выписал обмеры вместе с датами. Сперва это задело меня как чужая работа по нашему дому. Сегодня в ней нашлась польза.

Я выписал эти годы на отдельную полоску и разложил её вдоль края стола.

Самый ранний шёл через полтора года после сорок первого.

Пересчитал я дважды: число выходило неудобное. Дважды сошлось. До сорок второго года у дома Верицких не описано ничего. Ни земли, ни мельниц, ни доли.

— Матвей Савельевич. До Степана Ильича дом что-нибудь описывал?

— Нечего было.

Отозвался он ровным голосом и без всякого веса, как отзываются на очевидное. Потом поднял голову, и я увидел, что он услышал собственные слова.

Мы оба их услышали.

Дом начал описывать своё через полтора года после того, как взял на себя обязательство. До того описывать было нечего.

Дальше следовало остановиться, и я остановился.

Из этого не следует, что нужды не было. Из этого следует, что нужду нечем подтвердить: бумаг тех лет нет ни у нас, ни, сколько я знаю, у них. Дом, которому нечего описывать, скорее беден, чем богат, и на суде я мог бы сказать и так.

Сказать смогу. Показать не смогу ничем.

И порядок событий — ещё не причина. Дом мог подняться от обязательства, а мог подняться при нём: урожай, наследство, удачная тяжба, чужая беда по соседству. Но в Присутствии эти две вещи не различают.

Я выпрямился и ещё раз прогнал по полоске палец от края до края.

Число описей растёт. Сорок второй, сорок четвёртый, сорок седьмой, сорок девятый. Дальше чаще. Опись заводят тогда, когда есть страх потерять, а страх этот приходит следом за имуществом, а не раньше него.

— Мельницы вы ставили, — вспомнил я. — В каком году?

— В шестьдесят третьем. Первую. Вторую через четыре.

— На чьи?

— На свои. — Он помолчал. — Дом к тому году уже стоял крепко.

Стоял крепко.

Вот это я и должен буду услышать в Присутствии от чужого человека. Услышу непременно, и скажут это так: дом взял кровное обеспечение и сразу после него разбогател. Ни одного слова в этой фразе я опровергнуть не смогу. Возразить можно только на то, чего в ней нет, — на слово «потому».

Я записал это без смягчений, в два приёма.

«До сорок второго дом не описывал ничего. Нужды не подтвердить: бумаг нет. Подъём после обязательства виден, причина его не доказана и доказана быть не может».

«Прочтут как выгоду. Возражать нечем».

И подчеркнул второе.

Подчеркнул потому, что к вечеру мне непременно захочется переписать это помягче. Тот, кому неприятно, обтачивает себе формулировки по три раза на дню. Через неделю он читает у себя уже собственное согласие вместо находки.

Матвей разглядывал полоску с годами.

— Плохо, — заметил он.

— Плохо. Но теперь мы это знаем раньше них.

Я соврал наполовину. Они это знали до нас: годы описи стоят в их же перечне, выписанные их рукой. Кто-то у них корпел над нашими росписями и высчитал то же, что сейчас высчитал я.

Считал задолго до того, как поверенный сел в возок.

Отрицание я написал набело.

Написал нарочно набело. Хорошая бумага, левая рука, ни одной помарки. Черновик врёт: его дописываешь в уме, и в уме он выходит лучше. Набело видно всё сразу — и сказанное, и то, чего не хватает.

Вышло девять пунктов: четыре отрицания, четыре о способах проверки и девятый — просьба о сроке.

Отрицания шли так. Дом Верицких того обязательства не принимал. Бумага, предъявленная двадцать третьего числа, дому неизвестна. Обеспечение, в ней указанное, домом не давалось. Требование считать безосновательным.

Девять пунктов, которые закрывают дело за неделю, если они правда.

— Слушайте, — предупредил я Матвея. — Читаю вслух. Вы не отвечайте, пока не дочитаю до конца.

Он кивнул.

Читать вслух я научился в Палате, и научился дорого. Глазами написанное проверяется плохо. Глаз бежит по строке и достраивает то, чего там нет. Голос не достраивает. Голос спотыкается там, где слабо.

На первом не споткнулось.

На второй тоже. Бумага и вправду дому неизвестна: её увидели тут впервые. Это чистая правда, и повторить её под запись я готов.

Споткнулось на третьем.

«Обеспечение, в ней указанное, домом не давалось». Я услышал, как это звучит в комнате, где сидит человек, вчера при писаре подтвердивший, что дом обязательство принимал. Услышал — и дочитал до конца, потому что обещал дочитать.

Дочитал. Положил лист.

— Ну? — спросил Матвей.

— Что вы скажете в Присутствии, если вас спросят под запись?

— То же, что вчера.

— Вот именно.

Он не понял сразу, и я не стал объяснять, пока не объяснил себе.

Устроено это просто. Я подаю эти девять пунктов. Присутствие спрашивает дом: кто у вас ведёт дела тридцать первый год? Вызывают Матвея. Матвей отвечает то же, что вчера: он честен, и вчерашние его слова уже занесены при свидетелях. Дальше моя бумага лежит опровергнутая, и опровергает её собственный наш управляющий.

Три недели на всё про всё. Может, меньше.

А после этого мы уже не дом, который спорит о праве. Мы дом, который соврал в первом же ответе.

Я поднял лист и перечеркнул его крест-накрест.

Перо шло с нажимом, и на пересечении бумага поддалась. Порвалась она чисто, без бахромы, как рвётся хорошая бумага, на которой пишут набело.

Матвей сидел не шевелясь.

— Не жалко? — спросил он потом.

— Жалко. Тем и хороша.

На обороте я выписал, чем плох каждый пункт, и вышло короче самого отрицания. Всё сводилось к одному. Отрицание требует, чтобы дом молчал о себе всю дорогу. А дом — это Матвей, Варвара, два двора и писарь со вчерашней записью. И ещё десяток людей, которых спросят прежде меня.

Ниже я написал развилку.

Признать долг — значит стать должником и торговаться уже внутри признанного. Отрицать — значит быть уличённым во лжи и потерять вместе с делом имя.

Третьего выхода под этими двумя не нашлось.

Я посидел над листом, сколько мог себе позволить, и третья не появилась. Появится она через девять дней, и придёт не оттуда, где я её искал, но этого я в тот полдень ещё не знал.

Знал я другое.

Пока третьего нет, подавать нельзя ничего. Молчание тоже ответ, но оно обратимо. Поданная бумага работает против тебя с той минуты, как её приняли. Этому меня научил вчерашний перечень, и учить второй раз не пришлось.

Лошадь подали во двор к полудню, и подали с трудом.

От ворот до крыльца шагов сорок, и все сорок раскисли. Служитель вёл её под уздцы по краю, где твёрже. Она дважды садилась задом, разъезжаясь копытами в жиже. Просёлок до тракта был такой же, а тракт по нынешней весне не обещал лучшего.

Список я писал начисто, пока Матвей увязывался.

Восемь пунктов. Что поднять в доме, в каком порядке, с какого года и чего не делать. Последнее я расписал подробнее прочего, потому что запрет исполняют хуже поручения.

— Короба по годам, — прочёл я вслух. — От сорок первого к нам. Не от нас к сорок первому.

— Разница-то?

— От нас назад вы будете искать то, что уже знаете. От сорок первого вперёд — то, чего никто не искал.

Он твердил про себя, шевеля губами.

Копии у меня была одна, вчерашняя, и отдавать её я не собирался.

Я уселся и переписал перечень второй раз.

Левой, начисто, без пропусков — те же шесть пунктов и то же «установление» на нужном месте. Ушло на это полчаса, и к концу левая держала перо так же, как правая держит лист: минуты две, потом начинает ползти. Матвей выжидал и не торопил.

Вчерашнюю копию я оставил у себя. Новую сложил вдвое для него. Пропадёт одна — останется другая, а в дороге пропадает чаще, чем думают те, кто по ней не ездит.

Увязал я это в клеёнку, промаслённую по краю, и проверил узел.

Левой проверять узлы неудобно, потому что тянешь на себя одной стороной. Я проверил дважды и на второй раз перетянул заново, придавив свободный конец локтем. Матвей наблюдал и не предлагал помочь.

— Через трое суток будете дома. Если тракт не станет хуже.

— Станет.

— Тогда четверо, и я перепишу себе счёт.

Я и переписал, при нём: вчера у меня стояло ночь да трое суток, теперь стало ночь да четверо. Всякий срок в этом деле я держу по худшему, и первый раз это пригодилось на своём же управляющем.

— Пишите сразу, как поднимете первый короб. Не ждите, пока разберёте всё.

— Напишу.

— И Варваре Тихоновне передайте на словах. Пусть посчитает, чего дом лишится, если признаем в части. По годам, как она умеет. Требуемое с нас я посчитаю сам.

— В части, — повторил он. — Она спросит, не признали ли уже.

— Скажите, что не признали и не признаем без счёта.

Он повторил и это. Память у него на поручения крепкая: сказанное в дорогу он привозит слово в слово и ни разу не переврал.

Говорить было не о чем.

Я знал, что нечего, и всё равно подыскивал, чего бы прибавить. Следующие четверо суток он будет в дороге. Потом трое суток в дороге будет его письмо. Всё это время дом и я живём врозь и решаем каждый за себя.

Так живут дома, у которых один человек на два конца. У Ланских на одном нашем деле сидит не один и не двое.

Он подхватил узел под мышку. У двери остановился.

— Родион Андреевич. Я вам вчера сказал, что не открывал те короба.

— Помню.

— Сказал я это в двух словах, и получилось, что руки не дошли. — Он смотрел на узел, не на меня. — Дело не в том. Степан Ильич мне велел однажды: туда не лазь, там пусто. Лет двадцать восемь назад это было, я тогда третий год служил.

Я не ответил.

— Я и не лазил, — договорил он. — Все эти годы не лазил. Верил на слово человеку, который меня в дом взял.

За окном служитель развернул кобылу мордой к воротам и обтёр ей бок пучком соломы.

— Он мог не знать, — заметил я.

— Мог. — Матвей взялся за косяк. — Только он не сказал «не знаю, что там». Он сказал «там пусто». Это два разных слова, Родион Андреевич. Я их тридцать один год не различал.

Он шагнул за порог.

На лестнице пошли два шага, один тяжелее другого. Потом внизу говорили про подпругу, потом скрипнули ворота, потом стало тихо.

Я воротился к столу.

На столе лежал лист в пять граф: две отметки, три незаполненных места. Рядом перечёркнутый набело ответ и узкая полоска с годами описи, обтрёпанная с угла. Всё это вместе стоило меньше, чем одна фраза, сказанная в дверях.

Человек не открывал коробов три десятка лет, потому что ему сказали, что там пусто. Проверять всё это время надо было того, кто сказал.

Я придвинул чистый лист и записал первое, чем займусь. Выяснить, кто ещё за последние сорок лет говорил, что у Верицких чего-то нет.

Потом подошёл к окну. Во дворе его уже не было, только колея тянулась к воротам и наполнялась мутью.

Глава 3. Цена имени

За общий стол я сел позже прочих.

Место оставалось одно, с краю, спиной к проходу. Хлеб я взял левой. Кружку подвинул ею же. Правая легла на колено и там осталась.

Говорили о деньгах.

Разговор шёл третий день подряд. Такие в закрытом доме живут сами: кто-то сказал, кто-то передал, к третьему рту прибавилась цифра, к пятому — вывод. Ни один из говорящих не видел ни бумаги, ни человека, который её принёс.

— Сорок первого года, — повторил рябой, из младших. — Сорок первого. Это сколько же выходит?

— Сорок один да наши. Много.

— А обеспечение?

— Родовое, — отозвались с дальнего края. — Родовым правом.

Я жевал хлеб и слушал.

Голос при мне не понизили. Меня заметили, поздоровались, подвинулись. Рассказ и я у них в одно пока не сошлись: человек, сидящий рядом с разговором, ещё не предмет разговора.

Продлится это до завтрашнего утра, самое большее.

К вечеру кто-нибудь назовёт дом. Тогда за этим столом со мной станут говорить иначе или не станут вовсе. При мне уже был такой слух — про приписанного, — и приписанный полторы недели ел один. Я тогда сел к нему на четвёртый день и до сих пор не знаю, помогло ли это ему хоть чем-нибудь.

Пока можно было слушать.

Слушать чужой пересказ своего дела — работа неприятная и полезная. Своё видишь изнутри и оттого считаешь сложным. Пересказ показывает, каким оно выйдет наружу. А наружу выходит то, что легло на язык.

Легло вот что.

Дом Верицких кому-то должен с давних лет. Сумма огромная. Срок короткий. Отвечать нечем, и потому у Верицких заберут всё.

Ни одного имени. Ни одной бумаги. Ни разу «предъявлено при свидетелях» — хотя предъявляли при свидетелях, и свидетелей было двое, и писарь вёл запись.

Форма из рассказа выпала первой.

Запомнил я это отдельно, потому что формой сейчас и держусь. В бумаге у меня чисто: срок не пропущен, ответ не дан, признания нет, отрицания нет. В пересказе этого нет вовсе. В пересказе я уже проиграл.

— Да сколько же там? — не отставал рябой.

Дальний край назвал сумму.

Я дожевал хлеб и стал считать.

Считал молча, глядя в стол. На четвёртом счёте стало видно, что цифра у них не просто велика. Она велика неправильно.

Цифры при пересказе растут круглыми: тысяча становится двумя, две — пятью. Эта круглой не стала. Эта выросла иначе. Кто-то взял настоящую и пересчитал её на что-то: на годы, на проценты, на доли.

Кому должны, за столом не сказали ни разу.

Я дождался прямого вопроса — его задал тот же рябой, — и ответа не было ни у кого. Кому-то. Одному дому. По старой бумаге. Дальний край сказал «казне», и его поправили, и на этом кончилось.

Второй раз я слышу, как об этом долге говорят без имени. Матвей перед отъездом отвечал так же, а он тридцать первый год живёт в доме. Нынче так отвечают двенадцать человек, которые о доме моём знают только, что он есть.

Имя стоит в двух бумагах. В разговорах его нет нигде.

И срок.

Срок у них шёл недельный. У меня две недели, и две недели стоят в записи дословно, при писаре и при свидетелях. Неделя из воздуха не берётся: чтобы срок сократился вдвое, его должен был кто-то сократить.

Рябой засмеялся чему-то своему и потянулся за солью.

Пушкарёв остался на нижних работах, Сомов — за вторым столом, Величко — при учебном контуре. Звать их теперь — рассказывать о долге, которого я сам ещё не понимаю, а к этим двенадцати ответам они не прибавят ни бумаги, ни права вмешаться.

Я поставил кружку и стал слушать по-другому.

— Погодите, — попросил я. — Сколько, говорите?

Рябой обернулся охотно. Ему нравилось, что спрашивают.

Он назвал сумму второй раз, и второй раз она вышла та же. Это я и хотел проверить. Цифра, которую человек придумал сам, при повторе плывёт: он говорит «тысяч около» и поправляется вверх. Эта стояла.

— А срок?

— Неделя.

— С какого дня?

Он затруднился. Дальний край подсказал: с предъявления. Рябой повторил за ним и прибавил, что неделя-то уже идёт.

Под столом я считал.

Считать на пальцах у меня привычка с хранилища. Держится она потому, что рука занята и не лезет поправлять написанное. Левая на колене, большой палец к указательному — первое расхождение. Дальше по порядку.

Сумма. Срок. Обеспечение.

Три расхождения на один пересказ — это много, и в них есть разница, которую я увидел не сразу.

Сумма выросла. Так растёт всё страшное, когда его пересказывают: беда в чужом рту больше, чем в своём. Растёт она обыкновенно круглым числом, а эта вышла с копейками, и копейки эти рябой повторил дважды одинаково.

Откуда взялась цифра, я не знаю: в предъявленном перечне суммы нет вовсе, там имущество и права. Может, её сочинили. Может, взяли из бумаги, которой я не видел. Проверять нечем, и в ряд доводов я её не поставил.

Срок сжался. Тоже обычное дело: время в пересказе всегда короче, потому что «через две недели» звучит вяло, а «через неделю» — страшно.

С этими двумя я бы и оставил как есть.

Третье в этот ряд не становилось.

«Кровью» — слово, которое в застолье не заменяют. Оно само по себе страшнее всего, что можно придумать, и всякий пересказ такое слово бережёт: на нём держится рассказ. Его не меняют на другое. Его повторяют.

А тут поменяли. И поменяли не на страшнее.

«Родовое право» — оборот из Присутствия. В доме его не употребляют. За столом тем более. В Корпусе он живёт на втором ярусе, где сидят с делами, и дальше второго яруса не выходит. Я сам услышал его впервые в начале нынешнего срока и переспрашивал дважды, что оно значит.

Кто-то положил этот оборот в рассказ.

Положил рано — на другой день после предъявления, когда о деле знали двенадцать человек и ни один не видел бумаги. Положил с расчётом: «родовое право» ближе к перечню, чем «кровь». В перечне третьим пунктом идёт голос дома.

Значит, тот, кто это сказал, перечень читал.

Я пересчитал пальцы заново, от большого, и сошлось то же.

— Откуда знаете-то? — спросил я рябого. — Про родовое.

— Да все говорят.

— А первым кто?

Он подумал и пожал плечами. За дальним краем засмеялись: спрашивать, кто первый сказал, в Корпусе бесполезно, тут всякая новость рождается сразу общей.

Тут стоило бы спросить ещё раз, и я не спросил.

Двумя вопросами человек ничем себя не выдаёт: мало ли кому что любопытно. Третий вопрос об одном и том же деле запоминается, а к вечеру складывается с чужим рассказом. Верицкий спрашивал про долг Верицких — этого хватит, чтобы завтра меня за этим столом уже ждали.

Хлеб я доел. Кружку отнёс сам.

У двери оглянулся: за столом говорили про наряды, и рябой смеялся, и никто на меня не смотрел.

Я вышел с тремя расхождениями и одним выводом.

Вывод был такой: этот слух не сам пришёл. У него есть автор, и автор этот читал перечень — иначе «родовое право» ему взять неоткуда. От предъявления до застолья ему хватило суток.

Сутки — это быстро. Письмо до нашего дома идёт трое.

И ещё одно, помельче. Кто бы ни пустил эту сумму, круглой он её не сделал, хотя круглая ложится на язык лучше. Круглому не верят. Цифру с копейками никто не проверяет, зато верят ей сразу.

Проход к переписной узкий.

Двоим разойтись можно, если один прижмётся к стене. Троим нельзя. В полдень тут идут в обе стороны разом. Переписная закрывается на час, и все стараются успеть.

Артемий стоял в этом проходе и никуда не шёл.

Увидел я его поздно, шагах в пяти. Поворачивать было нельзя: поворот в проходе видят все и объясняют одинаково.

— Верицкий.

— Ланской.

Он не поздоровался и не подал руки. Руки в проходе и не подают: не разойтись.

— Один вопрос, — сказал он. — При всех, чтобы после не пересказывали.

Позади меня встали. Не нарочно: просто шли в переписную и остановились, потому что впереди перестали двигаться. Десяток человек, может, двенадцать.

— Спрашивайте.

— Отвечает ли дом Верицких по предъявленному? И если отвечает, то чем?

Вопрос был верный.

Верный по существу, верный по форме и заданный так, как задают в Присутствии: два колена, второе уточняет первое. Ни насмешки, ни повышенного голоса. Он мог бы задать его писарю, и писарь занёс бы слово в слово.

Ответить на него нельзя никак.

Скажешь «отвечает» — признал долг при десятке свидетелей. Скажешь «нет» — объявил, что дом отрицает предъявленное, и завтра это ляжет в дело. Промолчишь — хуже обоих.

— Дом Верицких, — сказал я, — принял предъявление по форме и в срок. Срок ответа не истёк. До истечения дом отвечает тем, чем отвечает всякий должник по непрояснённому требованию: сроком и порядком.

Сзади придвинулись.

Кто-то шёл из переписной навстречу и упёрся в затор, и задние, не видя причины, надавили. Меня развернуло вполоборота и приложило плечом о косяк.

Правой.

Я знал, что будет, ещё до того, как стало: кисть у меня после сушильни не терпит удара вовсе. Бумаги, которые я нёс под мышкой, пошли веером. Копия перечня, список к письму, два чистых листа.

Я присел и стал их собирать левой.

Собирать бумаги с пола одной рукой в проходе, где стоят двенадцать человек, — дело долгое. Лист поддевается от края, прижимается большим пальцем, кладётся на стопку. Потом следующий. Правая висела и в этом не участвовала.

— Срок ответа истекает пятого числа, — договорил я снизу. — До того ни признания, ни отрицания дом не даёт. Это и есть ответ.

Никто не наклонился помочь.

Смеха тоже не было, и это я отметил особо. Смеются, когда человек упал смешно. Тут вышло иначе: двенадцать человек стояли и смотрели, как наследник дома Верицких подбирает своё с пола одной рукой.

Двое, я думаю, хотели наклониться. Один даже двинулся. Потом посмотрел вперёд, туда, где стоял Ланской, и остался стоять.

Это и есть та цена, о которой в Корпусе не говорят вслух. Помочь Верицкому нынче — значит завтра объясняться самому.

Артемий ушёл, не дослушав.

Он повернулся на первой же фразе моего ответа и пошёл к лестнице, и проход за ним раздался сам собой. Сказал он одну фразу за весь день и ушёл, пока я отвечал.

Бумаги я собрал все. Проверил по счёту: четыре.

Проверять счёт после такого надо обязательно, и лучше при тех же людях. Потерянный в проходе лист через неделюотыскивается в чужих руках, и объяснять после приходится уже находку.

Порядок у них сбился, и это оказалось единственным, что я в том проходе выиграл. Перекладывая листы, я поставил копию перечня наверх, а список к письму под низ, и дальше нёс их так до самой комнаты, прижимая к боку.

Плечо ныло. Кисть не гнулась.

За спиной пошли дальше — в переписную, мимо меня, обходя по одному.

Второй раз я услышал это слово через час.

Шёл я к себе вдоль стены, с бумагами под левым локтем. Впереди говорили двое. Один постарше, из служащих второго яруса; второй мне незнакомый.

— …с таким обременением к голосу не подпустят, — сказал старший. — Ни в этот набор, ни в следующий.

Он сказал это мимоходом.

Так говорят об известном. Не объясняя, не понижая голоса, на ходу. Второй кивнул, как кивают на напоминание о своём же.

Я прибавил шагу.

Мысль догнала меня раньше, чем я догнал их. За столом «родовое право» звучало вместо «кровью». Тут прямо сказано, к чему это ведёт: обременение — и голоса не будет.

В перечне голос стоит третьим пунктом. Я его переписывал дважды и знаю, каким числом он там идёт.

Между «кровью» в бумаге и «голоса не будет» в коридоре лежит длинная дорога. Пройти её может только читавший перечень.

— Прошу прощения, — сказал я в спину.

Старший обернулся на ходу и не остановился. Дальше по коридору была дверь, тяжёлая, на пружине, и он шёл к ней.

— Вы сказали про обременение. Откуда это известно?

— Все говорят.

Он ответил, не сбавляя шага. Я обогнал его на полшага и придержал дверь левой. Дверь эта захлопывается сама, и разговор за ней кончается.

Бумаги под локтем поехали. Я прижал их сильнее.

— Всё-таки?

Он остановился. Посмотрел на мою руку на двери, потом на бумаги, потом на лицо. Лет ему было за пятьдесят. В Корпусе он сидел дольше, чем я живу.

— Родион Андреевич, — сказал он негромко. — Вы второй день спрашиваете.

Я молчал.

— Не спрашивайте, — договорил он. — Всякий, кто вам ответит, назавтра пойдёт объясняться сам. Я не пойду.

Он подождал, пока я уберу руку. Я убрал.

Дверь захлопнулась, и по коридору прошёл сквозняк.

Стоял я там недолго и успел разложить услышанное по местам. Раскладывать пришлось по головам: бумаг в этом дне у меня не было ни одной.

Двенадцать человек за столом знают, что дом Верицких должен.

Один человек в проходе спросил при них, чем дом отвечает, и ушёл, не дослушав.

Служащий второго яруса, который меня по имени знает, а я его нет, говорит на ходу, что с таким обременением к голосу не подпустят.

И никто из троих не назвал, кому должны.

Бьют по тому, чего у дома ещё нет.

Деньги у нас есть. Мельницы стоят, доля в перевозе даёт, земли за рекой описаны. Отнять всё это долго, и отнятое возвращают.

Дом без голоса — это дом, за который говорят другие. Я видел таких в Палате: они приходят со своим делом и приводят чужого человека, потому что сами сказать не вправе. Смотреть на это стыдно даже со стороны.

К себе я шёл уже медленно.

Который день подряд мне отвечают одинаково. Матвей перед отъездом: имени в доме не слыхали. Рябой нынче: все толкуют. Служащий: не расспрашивайте.

Три человека, и все трое честны.

У Матвея имени не было: в доме его не произносили. У рябого его нет и подавно — он и дома моего не знает. У служащего оно, может, и есть, да за него платят.

Из троих меня беспокоит третий.

Человек, просидевший двадцать лет на втором ярусе, знает цену всякому слову и знает, за какие слова спрашивают. Он предупредил меня о расспросах, а предупреждают о том, что уже случилось. Стало быть, кто-то до меня спросил и получил своё.

Я дошёл до своей двери и вспомнил, что не обедал.

Вечером я не сел за стол.

Сесть было не за чем. Записей в этот день у меня не прибавилось ни на строку: ни выписки, ни ответа, ни нового листа. Весь день я говорил и слушал, а такой день в моей тетради не оставляет следа.

Комната шесть шагов в длину.

Я мерил её от двери к окну и обратно и вслух повторял вопрос Артемия. Целиком, как он его задал, с тем же порядком слов.

«Отвечает ли дом Верицких по предъявленному? И если отвечает, то чем?»

Потом стал менять по одному слову.

Формулу проверяют именно этим. Меняешь слово — смотришь, устоит ли остальное. Устояло — слово было лишним. Рассыпалось — ты нашёл, на чём всё держится.

Дом я заменил наследником. Устояло, и мне стало хуже: наследник отвечает всем, чем отвечает дом, да ещё и собой.

Предъявленное заменил долгом. Устояло тоже.

А на месте «отвечает» поставил «признаёт» — и всё рассыпалось.

Вот тут я остановился посреди комнаты.

«Признаёт» — вопрос с двумя ответами, и оба я знаю с первого дня. За этим вопросом я сижу третьи сутки, и он мне не страшен: страшное в нём я уже перебрал.

«Отвечает» — другое.

Меня спросили не о том, признаю ли я долг. Меня спросили, чем дом отвечает. То есть чем он вообще располагает. Имуществом, именем, людьми, голосом. Спросили при двенадцати свидетелях, спокойно и по форме.

Половица у окна отзывается под левой ногой.

Я нашёл её ещё в первую неделю и с тех пор знаю: от двери четыре шага и половина. Нынче я прошёл по ней раз тридцать и на тридцать первый остановился.

До сегодняшнего дня меня спрашивали, что я сделал.

Вступился за приписанного. Добился записи. Ходил в хранилище. Всё это спрашивали с разным чувством, но спрашивали об одном: что сделал Верицкий.

С сегодняшнего спрашивают, чем отвечает дом.

Разница между этим не в словах. Человека, которого спрашивают, что он сделал, можно защитить делами. Дом, у которого спрашивают, чем он отвечает, защитить нечем, пока он не назовёт своё. А назвать своё — значит выложить, что у тебя есть, перед теми, кто пришёл это забрать.

Положение не переменилось ни на волос.

Долг тот же, срок тот же, бумаги те же. Переменилось то, как меня теперь будут спрашивать, и спрашивать так будут каждый день до пятого числа.

Я сел на койку и правой попробовал согнуть пальцы.

Не согнулись. К вечеру после косяка кисть встаёт колом, и это уже не от письма: писать я нынче не писал вовсе.

Завтра спросят так же.

Значит, до завтра надо иметь фразу, которую можно повторить при ком угодно и сколько угодно раз. Ответа у меня нет и до пятого числа не будет. Нужна фраза, которая стоит сама и не даёт ни признания, ни отрицания.

Такие фразы я видел в Палате. Их говорят по три раза на дню, не меняя ни слова, и к третьему разу слушающие перестают слышать в них уступку. Мне нужна такая же, и мне нужно, чтобы она была правдой: врать при двенадцати свидетелях можно один раз в жизни.

Я вернулся к столу, придвинул тетрадь и на чистой странице написал сверху одно слово: «отвечает».

Потом обвёл его.

Под словом я начертил две графы, как чертил в день отъезда Матвея: чем дом располагает и чем он отвечать не обязан. Вторая графа — та, которую мне и надо заполнить, и тогда я её не видел вовсе.

Свеча стояла непочатая. Я зажёг её и придвинул ближе.

Искать я буду нынче ночью. Завтра меня спросят прежде, чем я найду.

Глава 4. Кто имеет право взыскать

За столом меня нынче спросили прямо.

Спросил рябой, тот самый, что двадцать шестого считал вслух чужую сумму. Спросил громко, потому что иначе не умеет, и весь стол при этом поднял головы.

— Верицкий. Сколько с вас спрашивают?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— В предъявленном суммы нет вовсе. Там имущество и права.

Он не поверил.

Не поверил и стал объяснять мне, что так не бывает: у всякого долга есть цена, иначе по нему не взыщешь. Стол его поддержал. С дальнего края сказали, что цену назовут после, на разбирательстве, и сказали это со знанием, какого у говорившего быть не может.

Я доел и слушал.

Слушал потому, что впервые услышал свой предмет чужими голосами разом. Двенадцать человек за этим столом хотят знать сколько. Про то, кому, не спросил ни один.

— А вы что спросите первым? — сказал я рябому.

— Это как?

— Придут к вам с бумагой. Что спросите первым?

Он подумал недолго.

— Сколько.

— А потом?

— За что.

— А потом?

Тут он засмеялся и сказал, что дальше платить.

Стол засмеялся с ним, и смеялись без злобы: вопрос вышел глупый, и я сам слышал, что он глупый. Кружку я отнёс и пошёл к себе, и на лестнице пересчитал его ступени.

Сколько. За что. Платить.

Три ступени, и на всех трёх стоит один человек — тот, кто пришёл. Спрашивают у него про сумму и про основание, а про него самого не спрашивают: он уже тут, с бумагой, и присутствие его в счёт не идёт.

Нож для бумаги в Корпусе выдают тупой.

Точить его не велено: точёным режут не одну бумагу. Лист под ним рвётся по надрезу, и край выходит с заусенцем. Я приловчился вести серединой лезвия, а не остриём. Тогда рвётся глаже.

Лист я разрезал вдоль, надвое.

Две половины вышли неодинаковые — левая шире на палец, — и это я оставил как есть. Переписывать заново значило бы потерять полчаса ради красоты.

Сверху надписал.

На широкой: «обязательство». На узкой: «право взыскания».

Два дня я прожил на ногах и на чужих словах. В мою тетрадь за них не легло ни строки. В чужие головы легло многое.

Нынче я вернулся к столу. Первым делом развёл эти две вещи.

Их всегда сводят вместе, и в этом половина силы всякого требования.

Приходит человек с бумагой и говорит: дом должен, я пришёл взять. Слушающий слышит одно утверждение. На деле их два, и второе не следует из первого. Дом может быть должен — и этот человек может не иметь права взять.

Первое — про наш дом. Про сорок первый год, про то, что взяли и за что.

Второе — про того, кто стоял у меня в комнате пять дней назад. С двумя свидетелями и писарем.

О первом я знаю теперь довольно. Пять граф, две отметки, три незаполненных места, и всё это подтверждено собственной памятью дома.

О втором не знаю ничего.

Эта мысль и подняла меня с койки на рассвете. Пять дней я разбирал обязательство, потому что оно разбиралось. Оно домашнее, оно понятное, в нём есть Матвей, короба, годы описи. А человек с бумагой стоял всё это время в стороне, и я на него не смотрел.

Долг я проверял. Взыскателя не проверял ни разу.

В левую колонку пошло то, что разобрано: кто, кому, за что, чем обеспечено, кто наследует. Я переносил коротко, ссылками на тот лист в пять граф, чтобы не переписывать сделанное.

В правую — переходы.

Их в перечне восемь. Годы, имена, каждый следующий держатель назван полностью. Я списал всё подряд и посмотрел, что вышло.

Вышло вот что.

Всё, что взыскатель предъявляет дому, держится на правой колонке. Не на сорок первом годе, не на том, что взяли Верицкие. На восьми строках, по которым право дошло от первого получателя до него.

Порви любое из восьми звеньев — и требование у него в руках становится чужим.

Я сидел над двумя колонками и думал, отчего мне не пришло это раньше. Ответ нашёлся быстро, и он мне не понравился: оттого, что пять дней я отбивался. Отбивающийся смотрит на удар, а не на руку.

Вопрос я записал под правой колонкой, крупно.

«Кто вправе взыскать?»

Так спросить можно, и спросить при ком угодно.

Два дня меня спрашивают, чем отвечает дом, и всякий раз я отвечаю формой. Форма держит, пока её не перебьют вопросом по существу. Свой вопрос по существу у меня появился только сейчас.

Он ещё и тем хорош, что задаётся не в разговоре. Его подают бумагой.

Спросить, есть ли долг, — значит его обсуждать, а обсуждать нечего: долг есть. Спросить, кто вправе по нему взыскать, можно, ничего не признавая: должник имеет право знать, кому платит. Увёртки тут нет. Это единственный вопрос, который должнику и положено задать.

Из него ещё ничего не следует.

Переходы могут оказаться чистыми, и тогда я потеряю пять дней и останусь там же, где был. Зато спрашивать теперь есть о чём, и спрашивать буду не я один: такой вопрос, поданный по форме, задают уже не мне.

Я обвёл его и придвинул правую колонку ближе.

Левую колонку я взялся закрывать первой.

Закрывать — не значит доказывать. Значит проверить и больше к ней не возвращаться. Пока в деле есть непроверенное место, всякий разговор о другом идёт с оглядкой.

Выписку я положил слева, копию перечня справа.

Правая держит лист минуты две. Дальше пальцы разжимаются сами, и лист уезжает. Я подложил под ладонь тот самый лист в пять граф, сложенный вдвое, и так вышло удобнее: рука лежит, а не держит.

Сверять надо строка в строку.

По знакам, а смысл оставить на потом. Кто сверяет по смыслу, тот через десять строк начинает читать по памяти и пропускает там, где важно. Это я выучил на месте: сверял там чужие описи семь дней и на третий поймал себя на том, что узнаю записи по началу.

Пошёл я с имени.

Первое колено в выписке. Первая строка «кому» в перечне. Я вёл по обеим левым указательным и остановился на третьей букве.

Совпало.

Дальше год. Совпал.

Дальше предмет: за что дано. В выписке короче, в перечне подробнее, но всё, что есть в короткой, лежит и в длинной, теми же словами.

Обеспечение. Одно слово в обеих.

Я дошёл до конца левой колонки и вернулся к началу.

Второй проход я делаю всегда. Первый показывает совпадения, второй — то, что при первом проскочило. Тут проскочить было нечему: две бумаги разного возраста, писанные разными руками в разных домах, говорили одно и то же.

Этого я и боялся с воскресенья.

Наша выписка добыта не у них. Её нашёл я сам, в хранилище, куда меня больше не пустят до осени. Она старше требования на сорок лет. Если бы взыскатель писал своё требование с потолка, наша выписка его бы и убила.

Она его подтверждает.

Обязательство было. Дано тому лицу. За то, что названо. С обеспечением, которое записано одним словом.

Оборот я тоже прошёл, хотя в оборот перечень не заглядывает вовсе.

На обороте у нас цепочка права: четыре колена, одно под другим, годы против каждого. Между вторым и третьим — то самое пустое место шириной в две строки, про которое я думаю по ночам с хранилища.

Сверять его было не с чем. У взыскателя на том же месте стоят имена, и стоят они подряд, без просвета.

Я вернул выписку на место и отметил себе: наша бумага сходится с их бумагой везде, кроме одного. Кроме того самого места.

Я отложил перо и посидел.

Всякий должник на моём месте ищет расхождение в главном. Расхождения в главном нет, и, значит, спорить о главном я не стану ни сегодня, ни в Присутствии. Дом должен, и знаю я это теперь со своей бумаги, не с чужих слов.

Левую колонку я подписал снизу: «проверено, сходится, к возврату не подлежит».

Формула чужая, из хранилищной описи, и в тетради она смотрится нелепо. Мне она нужна была затем, чтобы завтра не начать сначала. Человек, которому неприятно, возвращается к проверенному по три раза и всякий раз надеется на другое.

Правая к этому часу совсем отошла.

Я разжал и сжал пальцы, посчитал до десяти, разжал снова. Работать ею всё равно нельзя, а что она отошла — уже хорошо: к вечеру после прохода она не гнулась вовсе.

Осталась правая колонка.

Восемь переходов, из которых я не знаю ни одного.

Про обязательство я узнал всё, что можно узнать в Корпусе за триста вёрст от собственных коробов. Про переходы права не знаю ни имени, ни года, ни того, жив ли хоть один из названных.

И это при том, что взыскивают с нас именно по ним.

Переходы я выписал столбиком.

Восемь строк. В каждой год, имя держателя полностью, основание перехода. Писал я их подряд, с равными промежутками, как пишут в описи.

Вышло красиво.

Гладкий столбец выходит и у честного писца, если он переписывал набело в один присест. Я подержал лист на отлёте, поглядел на него издали и придвинул обратно.

Дальше пошла работа.

Я стал искать в этих восьми переходах то, чего в них нет. Так проверяют всякую живую запись, и этому меня выучили на третий день, когда я ещё думал, что в бумаге важно написанное.

Живая цепочка длиной в сорок лет не бывает гладкой.

За сорок лет умирают писцы, горят амбары, теряются листы, наследники спорят между собой. Всё это в бумаге остаётся следами. «Имя не разобрано». «Сведений не имеется». «По утрате переписано с копии такого-то года». «Заявлено наследником, в споре». Такие пометки ставят не потому, что любят порядок. Их ставят затем, чтобы после было на что сослаться.

Я взял левую руку и стал считать вслух.

Считаю я на пальцах с хранилища. Правая в счёте давно не участвует, и это даже удобно: она лежит на листе и не даёт ему ползти.

— Оговорка по первому переходу.

Пальцы не двинулись.

— По второму.

Не двинулись.

Я прошёл все восемь и ни разу не загнул пальца.

Потом прошёл ещё раз, медленнее, и стал искать пометки о разборе: кто, когда и по чьему требованию эти переходы проверял. За сорок лет цепочку такого размера проверяют трижды или четырежды, и всякая проверка оставляет запись.

Записей не было.

Я отложил перо и посмотрел на столбец целиком, как смотрел на пять граф в день отъезда Матвея.

Росписи трёх домов я видел своими глазами. У всех трёх стояли пометки — где по две, где по пять. У одного стоял прочерк, и рядом с прочерком было приписано, откуда сведения брали и почему не взяли.

Чисто не бывает.

Чистая цепочка получается одним способом: когда её переписывают набело сразу целиком. Тогда всё старое остаётся в прежней бумаге, а в новую идёт только то, что переписывающий счёл нужным перенести.

Это я знаю не по науке. Это я видел своими глазами в книге употреблений, где перенос набело скрыл чужую руку и скрывал её три недели, пока я не нашёл предварительный журнал.

Тут предварительного журнала у меня нет.

Есть восемь гладких переходов, и ни на одном нет шероховатости, какая бывает у записи, прожившей сорок лет.

Под столбцом я написал одну строку.

«Оговорок — ноль. Разборов — ноль. Пометок об утрате — ноль».

И подчеркнул все три нуля.

Потом посидел и приписал ниже, мельче, то, чего мне не хотелось приписывать.

«Проверено по переписанному перечню. Самих бумаг не видел».

Разница тут громадная, и в Присутствии её назовут первой. Перечень писал их человек. Оговорки из живой цепочки в перечень могли и не попасть. Составитель переносит то, что относится к требованию. «Сведений не имеется» к требованию не относится вовсе.

Значит, три нуля у меня пока не улика. Три нуля — повод посмотреть своими глазами.

Вслух я сказал это в пустой комнате.

— Долг настоящий. Взыскатель может быть неправильным.

Прозвучало хорошо. Слишком хорошо — именно этого я и ждал.

Всякая догадка, сказанная вслух, звучит доказанной. Голос прибавляет ей веса из ничего. Сказанное словами кажется проверенным, хотя проверкой тут не пахнет. Правило это я взял после Палаты: сперва произношу находку, потом слушаю, что она обещает.

Эта обещала много.

Если право взыскания порочно, то дом не должен этому человеку ничего. Долг остаётся, а платить по нему некому, и требование рассыпается вместе с восемью строками.

Я взял перо и написал под гипотезой, чего ей не хватает.

Первое. Порочность надо показать в одном месте, а не вообще. Гладкую цепочку объясняют аккуратным писцом, и объяснение это принимают без спора.

Второе. Нужны сами документы. У меня переписанные восемь переходов, а смотреть надо то, с чего их списывали: печати, свидетелей, даты, обороты.

Третье. Нужен человек, который подтвердит, что в живой цепочке такого не бывает. Своё слово тут не годится: я сторона.

Под третьим осталась пустая строка.

Я посмотрел на неё и вспомнил другую — в четвёртой графе, где должна стоять мера обеспечения. Второе пустое место подряд, и оба в тех местах, где полагается быть доказательству.

Кто согласится проверить чужую цепочку, я не знал.

Служащие Корпуса сидят с делами, но за такое спрашивают: два дня назад мне уже посоветовали не расспрашивать. Присутствие проверяет по требованию стороны, а сторона — я, и моему требованию цена невелика.

Остаются мастера печатного дела.

Их дело — сам лист: чем писано, когда закреплено, одной ли рукой. Смысла они не касаются вовсе, и в этом вся их сила. Мастер не бывает на чьей-то стороне: он о другом.

Стоят они дорого, ездят неохотно и берутся не за всякое.

Одну такую я знаю. Приезжала она в позапрошлом деле по чужой просьбе, посмотрела оттиск, сказала три вещи и от четвёртой отказалась, хотя четвёртую видела. Мне тогда это не понравилось. Нынче я думаю иначе.

Вызвать её я права не имею.

Право потребовать осмотра носителя мастером печатного дела у стороны есть, но появляется оно не раньше, чем дело получит ход. Пока у меня нет ни хода, ни дела — одно требование и восемь дней.

Внизу листа я приписал себе запрет.

«До бумаги вслух не называть. Никому, включая своих».

Правило это дорогое, и я его вывел не сам. В хранилище я однажды сказал раньше времени, и сказанное ушло дальше, чем я рассчитывал, и человек, которого это касалось, успел приготовиться.

Тут цена выше.

Назови я гипотезу нынче — и завтра взыскатель будет знать, где я копаю. У него восемь строк, писанных не при мне, и переписать их заново он, надо думать, сумеет ещё раз.

Я перечитал всё, что вышло за день.

Две колонки. Левая закрыта и подписана. Правая с тремя нулями и с гипотезой, у которой три нехватки и одно пустое место.

За пять дней это первое, что похоже на работу.

Обрадоваться я себе не позволил. Радость на этой стадии опаснее самой ошибки: обрадовавшийся начинает искать подтверждения, а искать надо возражения.

Возражение я записал тут же, своей рукой.

«Цепочка может быть чистой потому, что её вели чисто. Проверить обратное нечем».

Такие возражения я пишу себе с книги употреблений. Тогда я три недели ходил вокруг переноса набело и всё это время держал в тетради строку о том, что перенос бывает и честным. Строка мешала. Она же и удержала меня от того, чтобы объявить находку раньше срока.

Ниже осталось место, и я оставил его пустым нарочно.

Место под то, что скажет человек, который бумаги эти увидит. Пока писать туда нечего.

Писем вышло два, и писал я их по-разному.

Первое домой.

Варваре Тихоновне я пишу коротко и без объяснений. Объяснений она не любит и читает их как недоверие. Поручений в письме три.

Поднять домашнюю переписку тех лет, какая найдётся: письма и черновики писем. Короба остаются на Матвее.

Записывать всякого, кто в эти недели придёт или пришлёт спросить о доме. Имя, день, о чём спрашивал. Даже если спрашивал о пустяках.

Это поручение я объяснил одной строкой: у взыскателя есть наши обмеры и годы описи, и взялись они откуда-то. Кто-то ходил вокруг дома и смотрел, и ходил, надо думать, не вчера.

И третье, дописанное последним. Придёт кто-нибудь с предложением помощи по долгу — ничего не отвечать и написать мне в тот же день.

Третьего я не объяснял.

Объяснять пришлось бы так: дом, на который заявили право, девятые сутки без управляющего, и в такие дома приходят. Нынче Матвей должен доехать, если тракт его не задержал. Она это знает лучше меня. Она там живёт.

Второе письмо я писал два часа.

Служебное обращение по форме — вещь, которой я до сих пор в Корпусе не пробовал. Форму я взял из порядка, переписал заголовок трижды и дважды переспросил у дежурного, как теперь пишут обращение к распорядителю дел.

Просил я об одном.

Должник, которому предъявлено требование, вправе просить о допуске к заверенным копиям того, что ему предъявлено. К копиям, заверенным Присутствием, из тех, что приложены к делу. Бумаги самого взыскателя мне никто не покажет.

Это право глухое, им пользуются редко.

Пользуются редко потому, что оно ничего не даёт: копии показывают при служащем, выписывать не позволяют, времени дают час. За час чужую цепочку не разберёшь.

Мне и не нужно разбирать.

Мне нужно увидеть их своими глазами. Есть ли на оборотах пометки. Стоят ли на переходах печати одного ведомства или разных. Одинаково ли выцвели чернила. Такое видно за четверть часа, если знаешь, куда смотреть. С переписанного перечня не видно никогда.

Левой я писал набело, и писал быстро.

Быстрее, чем правой до Корпуса. Приятного в этом мало: рука выучилась от нужды, прилежание тут ни при чём.

Первое письмо ушло с вечерней почтой.

Дойдёт оно на девятый день, ответ вернётся к двенадцатому. До срока ответа останется тогда двое суток, и вот эту арифметику я записал на полях, чтобы не обмануться в расчёте.

Второе я отнёс сам.

До канцелярии от моей комнаты четыре лестницы и два перехода. Прошёл я их с непокрытой головой: шапку забыл на койке, возвращаться не стал.

Дежурный принял, проверил форму и вернул мне лист.

— Обращение не то.

— Какое надо?

— «Господину распорядителю дел». У вас написано «в распорядительную часть». Часть — это место, а бумагу подают лицу.

Ошибку я исправил при нём, стоя, на подоконнике.

Исправлял левой и медленно, и он ждал, не торопя. Пока я писал, он смотрел мимо меня, в окно, и обронил, ни к кому не обращаясь:

— Второе такое за год.

— Обращение?

— Просьба о допуске. — Он взял лист и прочёл его заново. — Право есть, а просят редко. Час дают, выписывать не велят. Считают, что не стоит ходьбы.

— А первое чьё было?

— Не скажу, — отозвался он без всякой осторожности. — Не по злобе. Не помню.

Он принял второй раз и записал в книгу входящих.

Назвал число, поставил номер и прибавил, что ответ будет не раньше чем через три дня.

Я поблагодарил и пошёл обратно.

На лестнице меня обогнали двое из тех, кто стоял в проходе четвёртого дня. Один посмотрел, второй нет.

В комнате я сел и переписал в тетрадь номер входящего.

Номер этот — вещь мелкая и за весь день единственная, существующая не только у меня. Гипотеза живёт в тетради. Три нуля живут там же. Номер входящего записан в книге канцелярии, и стереть его оттуда нельзя.

С этого номера и пойдёт всё остальное, если пойдёт.

Свечу я загасил рано. Спать лёг, не раздеваясь, и правую положил поверх одеяла: под одеялом она к утру немеет.

Глава 5. Чистая бумага

Ответ пришёл раньше обещанного.

Дежурный сказал мне: не раньше чем через три дня. Считая от шестого, это девятый. Уведомление лежало у меня на койке вечером седьмого — двумя сутками раньше срока, — а допуск в нём стоял на восьмой день, то есть на сутки раньше самого раннего возможного. Я прочёл его дважды и на второй раз взялся считать.

Радости в нём не нашлось никакой.

Скорый ответ в канцелярии — вещь редкая и всегда с причиной. Причин у неё две. Либо дело решили пропустить вперёд по чьей-то просьбе. Либо показать мне эти бумаги кому-то удобно.

Первое к моему делу не идёт: просить за меня в Корпусе некому.

Остаётся второе. С ним я и пошёл на восьмой день вниз, во второй ярус. Дела для прочтения выдают там.

Шёл я туда по внутренней лестнице, чтобы не идти проходом.

Проход этот я обхожу с четвёртого дня и обхожу нарочно. Не из страха: страха там нет, там теснота и косяк. Всякий раз, как я иду мимо, кто-нибудь смотрит на мою правую руку. Нынче мне нужна была голова.

Комната узкая, в одно окно. Стол посредине, два стула. На дальнем сидит служащий, на ближнем — тот, кому дали час.

К этому часу я готовился с вечера.

Список того, на что смотреть, я составил и выучил наизусть. Взять его с собой нельзя: со своими записями в такую комнату не пускают. Чистый лист и перо внести можно — на них и держится вся щель в этом порядке. В списке было семь пунктов, и первые три я поставил так, чтобы они шли быстро.

Подготовка эта — не от прилежания. За час чужое дело не прочтёшь. За час проверяют задуманное заранее, и всякая минута раздумья над страницей вычитается из проверки.

— Верицкий, Родион Андреевич. По своему обращению от двадцать восьмого.

— Распишитесь.

Расписался я левой, и служащий посмотрел на подпись дольше, чем смотрят на подпись.

Дальше он перечислил условия. Голос у него был без выражения. Одно и то же он повторял раза по четыре на дню.

Копии смотреть можно. Выносить нельзя. Выписывать нельзя. Перекладывать можно, загибать углы нельзя. Час считается с этой минуты. Всё, что будет написано здесь, он прочтёт прежде, чем я выйду.

Я слушал и отмечал, чего в условиях нет.

Про счёт там ничего. Про порядок перекладывания ничего. Про собственные записи ничего.

Порядок этот писали лет двадцать назад, и писали против человека, который станет копировать. Про такого, как я, там не думали.

— Перо, — сказал он в конце.

Я достал своё и положил на край стола.

Это условие я слышал впервые и взял на заметку. Перо лежит на виду весь час. Пока оно лежит, заняты обе руки: одна не пишет, другая не прячет.

Стопка оказалась тоньше, чем я думал.

Листов в ней было десятка полтора. Заверенные копии всего, что взыскатель приложил к делу. Обязательство, перечень требований, восемь переходов, подтверждения к ним.

Тонкая стопка — уже кое-что.

Дело такого возраста обрастает бумагой, как днище ракушкой: справки, запросы, ответы на запросы, отметки о выдаче. Пятнадцать листов на сорок лет — это дело, собранное под одно требование и ничем больше не обросшее.

Я подвинул её к себе и посмотрел на служащего.

Он не читал своего и не смотрел в окно. Он смотрел на меня и на стопку. По лицу было видно: сидит он так не первый год.

— Час пошёл?

— Пошёл.

Я перевернул первый лист и начал.

Неделю назад я думал, что мне нужно от этих бумаг доказательство. К восьмому дню думал иначе.

Доказательства тут не будет. Будь оно в этих листах, мне не показали бы их раньше срока.

Мне нужно было увидеть, как они сделаны.

Шесть дней до пятого числа. Первый раз за неделю я сидел с чужой бумагой в руках. Второго такого часа мне не дадут.

Первый проход я делаю по печатям.

Печать в бумаге лжёт реже подписи. Подпись подделывают чаще, да и проще. Подобранная печать садится по-своему. Нажим уходит в один край, и оттиск глаже там, где рука не привыкла. Смотреть надо на края.

Я прошёл всю стопку за десять минут.

Печати стояли разных ведомств. Так и должно быть: переходы шли через разные годы и конторы. Одна печать на всех восьми стала бы первой находкой за неделю.

Ни одна не села подозрительно. На трёх краях смазано, и смазано при наложении, а не после.

Это я проверил дважды, потому что смазанный край подделывают нарочно: он придаёт бумаге возраст. При наложении краска уходит в ту сторону, куда вели руку. На обороте её при этом нет вовсе.

Второй проход — по свидетелям.

Тут смотрят на людей, а подписи оставляют на потом. Одно и то же имя из перехода в переход — примета дурная. Свидетель по призванию стоит дорого и всегда чей-то. Второй признак — свидетели без звания. Таких берут с улицы, и через сорок лет их не сыскать.

Имена не повторялись.

Звания стояли у всех. На пятом переходе свидетелем шёл человек из приказной конторы, и рядом стоял его номер по списку. Такого для виду не пишут. Номер проверяется за день, и ставящий его об этом знает.

Я задержался на этом переходе дольше прочих и не нашёл ничего. Задержался я нарочно, и понял это сам: очень уж хотелось хоть где-нибудь задержаться.

На десятой минуте служащий сказал, не поднимая головы:

— Половину часа.

— Простите?

— Пришёл другой запрос. Ваше время сокращено вдвое. Это было в условиях.

Условие это я читал десять минут назад, шестым пунктом подписного листа, и подписал, прочитав.

Считал я его тогда безобидным.

Пункт даёт канцелярии сократить время, если на те же копии придёт второй запрос. Второго запроса я не ждал: дело сорокалетнее, лежало без движения, и спрашивать его в одно утро со мной некому. Пункт этот стоит во всяком допуске и срабатывает раз в год.

Нынче он сработал.

Спорить было нечем и не с кем. Я подписал с открытыми глазами, и запрос пришёл не от меня. Кто его подал, служащий не скажет, а по форме и не обязан.

Оставалось двадцать минут на пятнадцать листов.

Я придвинул стопку и пошёл третьим проходом, по срокам.

Третий проход самый скучный и самый полезный. Сроки в цепочке права должны идти подряд и без разрывов: право не висит в воздухе. Между смертью держателя и переходом бывает промежуток, но он всегда объяснён — оформлением, спором, отсутствием наследника.

Я гнал быстро, перекладывая их левой и придерживая кипу правой.

Сроки сошлись.

Все восемь. Без разрывов. Без промежутков длиннее двух месяцев. Каждый промежуток объяснён тут же, в той же строке.

На четвёртом переходе промежуток был в семь недель, и рядом стояло: «по болезни наследника, свидетельство приложено». Свидетельство лежало следующим листом.

Я прочёл и его.

Свидетельство о болезни было выдано за подписью лекаря, с числом и с местом. Такие бумаги подделывают чаще прочих: лекарь помер, контора сгорела, спросить некого. Тут лекарь назван с приходом и с домом. Дом этот я знаю: он на нашей стороне реки, вёрст полтораста от нас.

Проверить его можно за неделю. Значит, и эта строка рассчитана на проверку.

Я отложил последний лист и сел прямо.

Такого со мной не случалось ни разу. В деле о печати я нашёл изъян на втором проходе. В долговых листах Ланских — на первом, и изъян был грубый. Тут три прохода дали три пустые руки.

Работал равный.

Это я и признал первым, ещё до всякой находки. Человек, составлявший эти бумаги, знает то же, что знаю я, и знает, куда я стану смотреть. Он положил печати разных ведомств. Он не взял свидетеля дважды. Он объяснил каждый промежуток.

Он сделал то самое, что сделал бы я на его месте.

До конца оставалось минут двенадцать.

Локтем я задел стопку на повороте.

Правая после прохода не чувствует края стола. Я знал это и всё равно повернулся быстро: времени оставалось десять минут. Локоть прошёл по краю, стопка поехала и ушла на пол.

Полтора десятка тонких страниц легли веером.

Служащий встал. Помогать он не собирался: встал посмотреть, все ли на месте и откуда считать. Он остался у своего конца стола и следил.

Я присел и стал собирать левой.

Второй раз за неделю я подбираю своё с пола одной рукой. В проходе это было унижением при двенадцати свидетелях. Тут никто не смотрит, кроме служащего, и оттого руки работают спокойнее.

Одной рукой лист поднимается так: поддеваешь от края ногтем, прижимаешь пальцем, тянешь на себя. Кладёшь на ладонь. Берёшь следующий. На десятом ладонь устаёт держать стопку, и приходится переложить всё на колено.

Листы ложились не по порядку.

Тут это и вышло.

Два дня я читал цепочку подряд, и подряд она читалась гладко. Сейчас у меня на колене лежали шестой переход, за ним второй, следом подтверждение к пятому, следом первый. Порядок сбился, и вместе с ним сбилось чтение.

Я перестал видеть, что там написано, и увидел, чего на них нет.

Полей.

То есть поля были, и одинаковые: копии сняты в одной конторе и в один присест, и удивляться тут нечему. Удивительно было, что все они чистые. Ни приписки, ни карандашной галки, ни единого слова сбоку.

Я стал складывать медленнее и считать вслух.

— Лист. Лист. Лист.

Служащий считал со мной, вполголоса, по-своему: ему надо было знать, что вернутся все.

— Четыре. Пять.

Считать вслух при нём я мог сколько угодно, и он это знал не хуже меня. Раза два он взглянул на мои губы, потом перестал.

Считал я не листы.

Вслух я говорил «лист», а про себя вёл три счёта разом: сколько всего листов, сколько на них оговорок вроде «в споре», «переписано по утрате», «сверено с прежней росписью», и сколько пометок о прежних проверках цепочки.

Листов вышло пятнадцать.

Оговорок ноль.

Пометок о разборе ноль.

Я сидел на корточках со стопкой на колене и держал в голове эти три числа. Ни одной оговорки на пятнадцати листах. Ни одной пометки о том, что кто-нибудь когда-нибудь эту цепочку проверял.

Тут я себя остановил.

Копия набело чужих следов не наследует. Она молодая и чистая по самой своей природе. Делать из её свежести улику — всё равно что укорять переписчика за новое перо.

Дело не в бумаге. Дело в том, чего на ней не написано словами.

Копию снимают с оригинала. Если в оригинале было приписано сбоку — «имя не разобрано», «в споре», «сверено по такой-то копии», — переписчик обязан перенести это в копию и поставить внизу пометку: снято с отметками. Пометка эта не украшение. Без неё копия в дело не годится, потому что неизвестно, полна ли она.

Пятнадцать листов. Ни одной приписки со стороны. Ни одного «с отметками».

Значит, одно из двух.

Либо в оригиналах за сорок лет не появилось ни одной боковой записи: ни у восьми держателей, ни в конторах, через которые всё это шло. Либо копии снимали так, что переносить было незачем.

Первого я в чужих цепочках не встречал ни разу. Отсюда, впрочем, следует немногое: мало ли чего я не держал в руках.

— Все? — спросил служащий.

— Пятнадцать.

— Пятнадцать, — подтвердил он и сел.

Я поднялся с колен тяжелее, чем садился.

Правая от сидения на корточках ничего не почувствовала: она вообще мало что чувствует. Зато колени к этому часу дрожали, и последний лист я подбирал уже стоя, наклонившись.

Я положил стопку обратно на стол и выровнял её ладонью.

Порядок в ней сбился окончательно, и восстанавливать его я не стал: пусть служащий сам разложит, как ему нужно. Мне порядок был больше не нужен.

Мне нужно было то, что я увидел, пока бумаги лежали вперемешку.

Служащий разложил их по номерам за полминуты. Я смотрел, как он это делает, и отметил, что номера он помнит наизусть.

Значит, дело это он выдаёт не в первый раз.

Сравнивать мне было не с чем.

Хранилище перекрёстных записей закрыто с двадцатого числа и стоит закрытым до осеннего набора: связки перевязывают, описи сверяют, ярус метут. Всё, что я оттуда унёс, унесено в голове. Там оно с тех пор и лежит.

Я положил ладонь на столешницу.

Дерево было сухое, тёплое от солнца из окна. Пальцем по такому чертить удобно. Следа не остаётся, зато рука помнит, куда вела.

Первая роспись, какую я восстанавливал, была Кологривовых.

Четыре колена, у каждого по два-три имени. Против третьего колена стояла пометка: «имя не разобрано, сведения взяты с копии восемнадцатого года». Помню я её потому, что переписал себе и потом два дня искал, что это за копия.

Вторая — Селивановых.

У этих пометок было пять. Две об утрате, одна о споре между наследниками, две о разборе: кто, когда и по чьему требованию смотрел.

Третья — Дурново.

Тут стоял прочерк вместо имени, и рядом с прочерком было приписано, откуда сведения брали и почему не взяли. Приписка длиной в две строки, и в ней названы и год, и контора.

Я провёл пальцем по столу три раза и посчитал.

Две пометки, пять пометок, прочерк с припиской. Три дома, которые никто ни в чём не обвинял, и ни у одного цепочка не была гладкой.

Пометку ставят не из любви к порядку.

Ставят её затем, чтобы после было на что сослаться. Писец, дошедший до неразборчивого имени, пишет «не разобрано» и спит спокойно: он не сочинил. Тот, кто пропустил такое место молча, отвечает за него сам.

У взыскателя молчат все пятнадцать листов.

Служащий посмотрел на мой палец, перевёл глаза на стол и вернулся к своей книге.

Чертить по столешнице порядком не запрещено. Спрашивать, что я черчу, ему было незачем.

Спросил он другое, погодя.

— Долго вы так?

— Как?

— Пальцем.

Я убрал руку. Он головы от книги не поднял и прибавил тем же голосом, каким читал мне условия:

— Тут всякий что-нибудь делает. Один считает вслух. Другой листы перекладывает по три раза. Была женщина, та говорила сама с собой и извинялась.

— А вы что делаете?

— Я считаю листы, — сказал он. — Мне довольно.

Вывод у меня сложился один, и тот с оговоркой.

Для себя. В Присутствии я его не произнесу, потому что звучать он будет так: «я помню три чужие росписи, и они были другими». Сторона, ссылающаяся на собственную память, в деле не стоит ничего.

Была и вторая беда, похуже первой.

Три дома я помню потому, что сам их смотрел в хранилище, куда меня пустили один раз и по частному делу. Назови я их в Присутствии — и первым же вопросом будет, откуда мне известны чужие росписи. Отвечать придётся правду, и правда эта потянет за собой всё хранилище разом, вместе с тем, что я там искал и зачем.

Выходит, лучшее моё сравнение я предъявить не могу.

Я стёр ладонью то, чего на столе и не было, и посидел, глядя на стопку.

Пачка лежала так, как легла.

Я разложил у себя в голове по местам то, что имею, и вышло три полки.

Наблюдал я одно: ни одной перенесённой приписки, ни одного «с отметками» на пятнадцати копиях.

Подозрительно это потому, что в трёх чужих росписях, какие я видел своими глазами, приписок было две, пять и одна с прочерком. Три из трёх. Вероятность, что восемь переходов за сорок лет прошли вовсе без единой боковой записи, мала настолько, что я бы на неё не поставил.

Не доказал я ничего.

Мала — не значит невозможна. Копии могут быть полными, а цепочка честной. Тогда все мои сегодняшние полчаса стоят столько же, сколько чужая аккуратность.

Развести эти два объяснения может одна вещь.

Оригинал. Хоть один лист из восьми, не копия, — и по нему сразу видно, было ли на полях что-нибудь. Или журнал выдачи той конторы, где копии снимали: в журнале пишут, с отметками снято или без.

Ни того ни другого у меня нет и по моему требованию не будет.

Оставалось минут шесть.

Перо пролежало на краю стола двадцать четыре минуты.

Я взял его и придвинул к себе чистый лист из своих. Служащий поднял голову.

— Выписывать нельзя.

— Я напишу своё.

Он подумал и кивнул. Своё писать порядком не запрещено: запрещено переносить чужое. Разница тут тонкая. Держится она на одном: в записи не должно стоять ни единого слова из копий.

Я написал две строки.

Первая: «На пятнадцати копиях ни одной перенесённой приписки и ни одной пометки «снято с отметками»».

Вторая: «В трёх чужих цепочках, какие я видел, приписок было две, пять и одна. Здесь ни одной».

Ни одного слова из копий тут не было. Ни имени, ни года, ни суммы, ни названия конторы. Только два счёта, которые я вёл сам: их пятнадцать листов и мои три чужие росписи.

Служащий протянул руку, и я подал ему лист.

Читал он внимательно, водя пальцем по строкам, и на второй остановился. Взгляд, который он поднял на меня, был впервые за всё это время не служебным.

— Своё, — сказал он.

— Своё.

Он вернул мне лист.

Потом придвинул стопку и стал считать её вслух, при мне, как считают при сдаче.

— Один. Два. Три.

Считал он медленно и порядок не восстанавливал: разложит потом, по номерам. Я стоял и слушал свои же цифры, сказанные чужим голосом.

— Пятнадцать. Всё.

— Всё.

Кончил я за минуту до срока, и минута эта мне была уже не нужна.

У двери он сказал мне в спину одно слово.

— Дважды.

Я обернулся. Он смотрел в свою книгу и больше ничего не прибавил, и я вышел, не спросив.

Понял я это уже на лестнице. За этот месяц дело выдавали дважды: мне — нынче, и кому-то ещё до меня. Кому — он не сказал и не скажет. Да и сказанного говорить был не обязан.

Я вышел в коридор и остановился у окна.

Уносил я немного. Две строки на своём листе, сложенном вчетверо в кармане. Память о том, как выглядела эта груда вперемешку на колене. И знание, что человек, который их готовил, знает моё ремесло не хуже меня.

Последнее тяжелее первых двух.

Неделю я искал ошибку и всё это время думал о взыскателе как о человеке с деньгами и поверенным. Нынче я узнал о нём другое: он умеет делать бумагу. Такое не покупается за месяц и не поручается первому попавшемуся.

Значит, у него есть свой мастер. Или он сам и есть мастер.

Доказательства у меня не было.

Доказать чистоту нельзя: чистота не изъян. В Присутствии мне скажут, что бумаги в порядке и что возражения мои к порядку не относятся. И будут правы до той самой минуты, пока кто-нибудь не положит рядом один оригинал.

Значит, нужен человек, который смотрит на лист, а текст оставляет другим.

Второй раз за два дня я подумал о мастерах печатного дела и второй раз отложил. Права вызвать у меня нет, и появится оно не раньше, чем дело получит ход.

Я развернул свой лист, перечитал две строки и убрал обратно в карман. К себе шёл медленно.

В комнате я первым делом переписал две строки в тетрадь, а свой лист сжёг над свечой.

Лист этот читал служащий. Всякая бумага, которую читал чужой, годится потом не только мне, и лучше ей не лежать в моём кармане. В тетради те же слова стоят моей рукой и никем не читаны.

За окном шёл дождь, четвёртый день подряд. До пятого числа оставалось шесть дней.

Глава 6. Старый получатель

Письмо принесли к семи, вместе с почтой на весь ярус.

Носит её старший служитель и носит по-своему: не раздаёт, а выкладывает на подоконник в конце коридора и называет фамилии подряд, покуда не кончится. Кто не вышел, тому лежит до вечера.

Стояли мы в коридоре человек десять.

— Хилков. Тучков. Хилков ещё раз.

— Два сразу? — отозвались из дверей.

— Два. Один тонкий, другой толстый. Толстый из дому.

Хилков забрал оба и ушёл читать тонкий, а толстый сунул под мышку. Так делают все: из дому читают после, потому что оттуда либо просят, либо жалуются, и ни то ни другое с утра не нужно.

— Верицкий.

Я вышел и взял.

Конверт лёг в ладонь тяжелее прочих, и стоявший рядом это увидел.

— Четыре листа, — сказал он. — У меня отец так пишет, когда плохо.

— А когда хорошо?

— Когда хорошо, он не пишет вовсе.

Он засмеялся своей же шутке и пошёл вниз.

Печать я узнал сразу. Матвей ставит её криво. Сургуч он держит левой, оттиск правой, и вечно спешит. Я взял конверт и не стал ломать.

Сперва следовало высчитать дорогу.

Лист я положил перед собой и вывел на нём четыре числа. Матвей выехал со двора в полдень второго дня. Ночь да четверо суток — так мы переписали срок при последнем разговоре. Он тогда сказал, что тракт станет хуже. Значит, дома он был к концу шестого. Почта отсюда до нас идёт трое суток.

Десятый день. Отними трое — седьмой.

Сходилось только в одном случае. Письмо писано седьмым днём. То есть уже дома и уже после того, как короба подняли. Пиши он в дороге, с почтовой станции, письмо пришло бы раньше. И было бы короче.

Конверт под рукой был толстый.

Прежде толщины я посмотрел на края. Сургуч лежал целым кольцом, без трещины по ободу. Вскрытое и заклеенное заново всегда даёт вторую линию: воск ложится на воск и стынет неровной каймой. Тут каймы не было. Бумага под печатью тоже держала первый сгиб.

Значит, читали его только я и тот, кто писал.

Толщину эту я приметил и отложил. Толстое письмо бывает и от растерянности. Человек пишет много, когда не знает, что важно. Матвей таким не был ни разу на моей памяти. Правда, при мне он и не поднимал коробов, в которые ему тридцать лет не велели лазить.

Я перечитал свои четыре числа.

Считать при своём же нетерпении — работа отдельная. Рука тянется сорвать печать, и счёт от этого идёт быстрее, чем надо. Я прошёл его второй раз, с конца. Почта трое суток. Писано седьмым. Дома с шестого. Выехал вторым.

Сошлось так же.

Дважды я считаю не от недоверия к себе. Считаю оттого, что второй счёт идёт другой дорогой. Первый шёл от выезда вперёд, второй от почты назад. Сойдись они по-разному — ошибка сидела бы в одном из двух, и я бы знал, в каком.

Теперь можно было ломать. Сургуч пошёл под ноготь левой и раскрошился. Крошку я собрал в ладонь и ссыпал в чернильный поддон. На полу её разнесут по всему ярусу за полдня. Мелочь. Но чужая печать под моей дверью — не то, что я хочу оставлять.

Внутри лежали четыре листа, исписанных с обеих сторон.

Первый я развернул и сразу увидел, что писан он не за один присест. Верх свободный, низ тесный. Строки сходятся к нижнему краю. Бумаги не хватило. Новую он брать не стал. Матвей бережёт бумагу и тогда, когда бережёт её зря.

За стеной опрокинули ведро, и по коридору пошла вода.

Я поднялся и подпёр дверь табуретом. Замка тут нет, а служители снуют с вёдрами до восьми и суются в открытое. Табурет держит слабо, зато дверь при нём отворяется с грохотом. Грохота мне довольно.

Стул я подвинул к стене, чтобы свет шёл на лист сбоку.

У стены и чужой глаз через плечо не встанет. Повадка эта завелась в хранилище, где я семь дней разбирал чужие описи под чужим присмотром. Там она шла от службы. Здесь пригодилась для дела.

Восемь суток я дожидался этого письма.

Восемь дней — и четыре минуты счёта сверх них. За эти четыре минуты письмо перестало быть вестью из дома. Оно стало бумагой с известной датой. С известным писавшим. С известным местом, где писавший сидел, когда её писал.

С такой бумагой уже можно работать.

Я положил рядом копию перечня и нашу выписку сорок первого года. Обе легли слева. Письмо справа. Между ними осталась полоса чистого стола шириной в ладонь. Туда я собирался класть то, что сойдётся.

Вода за стеной доползла до порога и встала.

Первую строку я прочёл стоя.

Первая строка была про короба.

«Поднял одиннадцать. Три от сорок первого и раньше, восемь после. Те три стояли под окном, отдельно от прочих. Низ у них подмок».

Излагал он по порядку, как я просил. От сорок первого к нам. В первом коробе лежали расходные записки. Во втором письма. В третьем связка листов, перевязанная тесьмой крест-накрест.

Тесьму он развязал не сразу.

Про это Матвей написал отдельной строкой, и строка эта стоила всего листа. «Узел был мой. Вязал я его при переносе коробов, двадцать два года назад, и больше к нему не притрагивался». Двадцать восемь лет назад ему сказали туда не лазить. При переносе он этот короб нёс на руках и перевязал заново. Не открывая.

В связке лежало обязательство.

Не нашподлинник: таких там не было вовсе. Лежала домашняя выписка из него, сделанная в сорок первом для себя. Внизу пометка: «списано при подписании». Я прочёл это дважды и перечёл строку с пометкой в третий раз.

Затем я вынул выписку сорок первого года и положил рядом.

Имя стояло в обеих. То самое, которое я знаю ещё по Корпусу, которое значится первым коленом в цепочке права и первым же в перечне взыскателя. Я провёл по обеим строкам ножом для бумаги, от края к краю. Сличал по буквам.

Буквы сошлись все.

Ножом я вожу с той поры, как в Палате мне растолковали, чем плох палец. Палец накрывает читаемое, и глаз добирает спрятанное по памяти. Лезвие идёт под строкой и ничего не заслоняет. Сейчас оно шло по имени медленно, потому что имя это я знаю наизусть, а знакомое читается хуже чужого.

Сошлось и написание, и порядок слов.

Дальше начиналось новое. В домашней выписке при имени стояло ещё три вещи, которых нет ни в нашей выписке, ни у взыскателя. Двор. Волость. И ремесло: «по кузнечному делу, при двух горнах».

Я отложил нож и посидел.

До нынешнего утра это имя было для меня строкой. Строку сверяют, оспаривают, ищут в цепочке. Живёт она нигде и не имеет ни двора, ни горна. Теперь у неё появилось место на земле, и место это можно объехать за четверо суток.

Тут я вспомнил, откуда всё это взято.

Взято из домашнего короба. Ни архива, ни заверенной копии, ни печати за этим не стоит. В Присутствии такая бумага весит немного: она наша, писана нашей рукой, хранилась у нас, и никто, кроме нас, не подтвердит, что она лежала там с сорок первого.

Против неё скажут одно слово. Поздняя.

Скажут, что выписку могли составить в любой год. Хоть на прошлой неделе. И сунуть в подмокший короб с краю. Отвечать на это нечем. Тесьма, завязанная Матвеем при переносе, для меня доказательство. Для чужого человека это рассказ моего управляющего о собственном узле.

Я записал это себе прямо на полях письма.

«Двор, волость, ремесло — из домашней выписки. В деле не годится. Годится, чтобы знать, куда ехать».

Полей у Матвея широкие, он их оставляет по привычке писаря. Строка легла ровно посередине и не полезла на текст.

Напоследок я перечитал всё, что вышло за полчаса.

Вышло немного и вышло твёрдо. Получателя незачем впредь называть стороной, домом или линией. Получатель — человек. Человек жил в волости, ковал железо и имел два горна, а два горна на один двор потянет не всякий.

Такого человека в его волости помнят.

Второй лист начинался с оговорки.

«Дальше пишу то, что стоит в выписке. Своего не прибавляю. Где своё, там отмечу».

Отметок своего в четырёх листах нашлось две, и обе внизу, отдельной строкой. Пишет так тот, кого один раз крепко поправили за пересказ. Матвея поправляли. Поправлял его я, по расходной книге, в первый же месяц.

Причина долга уместилась в четыре строки.

Я прочёл их и не понял с первого захода. Перечёл вслух, себе под нос. Голос не достраивает того, чего нет на бумаге. Этому меня выучили в Палате, и вслух я теперь читаю всё, что мне неприятно.

Неприятно было со второго слова.

В сорок первом шёл передел. Дома, у которых не сходились бумаги на людей, теряли их в чужую пользу. Теряли законно. У Верицких бумаги не сходились. Дом стоял перед тем, чтобы отдать тридцать одну душу, и многие из них были при ремесле.

Долг взяли за то, что этих людей удержали.

Не деньгами. Деньги дом в тот год отдать не мог, и это как раз сходится: до сорок второго у нас не описано ничего. Взяли обязательством, и обеспечением по нему дали право кровного спроса.

Дальше в выписке шла формула.

«Ответствовать по сему не имуществом, но кровью дома, в чём и полагается обеспечение». Я переписал эту строку на отдельный лист, слово в слово, с тем же порядком слов. Целиком письмо перечитывать я впредь не собирался.

Отдельный лист лёг поверх копии перечня.

Их у меня стало два: строка о кровном спросе и четвёртая графа, где с первого дня торчит одно слово и пусто под ним. Я положил их рядом и посмотрел, что закрылось.

Закрылось «что даёт».

Кровный спрос — это право требовать с дома не деньгами. Так гласит формула. Списана она с бумаги, которую держал в руках подписывавший обязательство. Это уже кое-что. До нынешнего утра у меня в графе не стояло и этого.

Не закрылось «чем меряется».

В выписке про меру пусто. Матвей отметил внизу своей рукой: «Про меру в бумаге не сказано. В доме тоже не говорили. Это моё, отмечаю». Он приписал, что рылся в двух других коробах впустую и угробил на это день.

Я обвёл слово «меряется» кружком и оставил графу как была.

Второе своё Матвей поставил в самом низу листа. «Родион Андреевич, дальше того короба я один разбирать не стану. Дождитесь меня». Такую строку он писал мне однажды в Корпусе, перед хранилищем, и тогда я её не послушал.

Послушать её и теперь было нельзя.

Просит он не ответа. Просит он себя.

Значит, считать тут надо дорогу, а почта ни при чём. Чтобы Матвей стоял у этого стола, ему надо выехать. Чтобы он выехал, до него должно дойти моё слово: трое суток, тринадцатый день. Дорога от нас сюда — четверо суток по нынешней грязи, он её только что прошёл. Семнадцатый день.

Срок ответа истекает на четырнадцатый.

Опоздание в трое суток, и убрать его нечем. Выехал бы он в тот же день, как писал, — был бы здесь к одиннадцатому, и я дождался бы. Только он не выехал, а сел за короба, и написал мне именно затем, чтобы я подождал, пока он их разберёт.

Ждать мне нечего и некогда.

Я сложил письмо и убрал в футляр.

Футляр жестяной, от старых чертежей, и в нём сухо. Бумагу, которую придётся показывать, я держу там с одного случая. У меня размок в кармане вексель. Четыре листа влезли туда свободно.

Наконец я остался с одним листом на столе.

На нём умещались четыре переписанные строки и ни слова сверх. Читать их можно сколько угодно раз, письма при этом не трогая. Про передел перечитывать больше незачем. И тридцать одну душу, которых удержали в доме ценой вот этой бумаги, заново считать тоже незачем.

Считать их я всё равно начал.

Третий лист был короче прочих.

«Про тот двор в доме знали немного, и знали плохое. Род свёлся на нет в сорок пятом. Мор был по той волости, а кто уцелел, тех разобрали по чужим дворам. С тех пор о них и не говорили».

Ниже стояло второе своё: «Это я слышал, не читал».

Слышанному цена невелика. Но год он назвал дважды, в двух местах листа, и оба раза одинаково. Человек, который путает годы, второй раз называет другой.

Я взял ножницы и нарезал бумажек.

Резал я левой, и вышли они косые. Годы переходов права стоят в перечне взыскателя, все восемь, с именами держателей. Я выписал их на бумажки, по одному году на каждую. Разложил по краю стола слева направо.

Вышла дорожка длиной в две ладони.

На девятой бумажке я вывел сорок пятый и повёл её вдоль ряда. Мимо первого года, мимо второго. У третьего рука встала: тот год шёл уже позже. Я вложил бумажку в этот промежуток, и ряд принял её без зазора.

Она легла третьей.

После неё в цепочке оставалось пять переходов. Пять раз право переходило от держателя к держателю. Годы проставлены, имена полные. Каждый следующий назван целиком. Всё это делалось после того года, в котором род получателя свёлся на нет.

Над рядом я просидел долго.

Тут следовало притормозить и поглядеть, откуда что взято. Годы переходов — из перечня взыскателя. Перечень писан их рукой и подан мне на руки. Год мора — из домашнего короба, со слов Матвея, слышанных в доме. Две бумаги разного веса, и лежат они в одном ряду.

Вес врозь, а ряд один.

Из ряда следовало вот что. Либо род свёлся не весь. Кто-то остался, и этот кто-то наследовал по праву. Либо кто-то занял пустое место. Третьего ряд не показывал. Показывать всё он и не обязан: в нём лежит только то, что я в него разложил.

Я пометил на бумажке с сорок пятым крестик.

Крестик значит «проверить у чужих». Он у меня красуется на четырёх бумагах по этому делу. Проверить я не могу ни одной. Хранилище перекрёстных записей закрыто до осеннего набора.

Дальше я взялся считать промежутки.

От сорок пятого до третьего перехода прошло пятнадцать лет. Пятнадцать лет право никуда не переходило, хотя держать его было уже некому. Потом переходы пошли подряд, а к нашему времени и вовсе по разу в десятилетие.

Пятнадцать лет тишины — это много.

Много оттого, что право не висит в воздухе. Так писано в цепочке, так мне втолковали в Корпусе, так я сам говорил Матвею. Если держателя нет, право переходит к ближайшему по закону, и переход этот записывают. Пятнадцать лет его не записывали.

Или записали позже, задним числом.

Это я подумал, а не увидел. Увидел я ряд бумажек. Между вторым и третьим переходом лежит год мора, а дальше всё гладко, как в хорошо переписанной книге.

Гладко я видел уже дважды за эту неделю.

Первый раз на пятнадцати заверенных копиях без единой боковой приписки. Второй раз тут. Оба раза гладкость ничего не доказывает и оба раза стоит в том самом месте, где я ищу.

Я оставил бумажки лежать как легли.

Сметать их со стола было незачем. Каморка моя, дверь подпёрта, и до вечера сюда никто не сунется. Ряд пролежит до утра. Утром я посмотрю на него на свежую голову. Свежая иногда видит другое.

Место, где рыть, у меня завелось.

К вечеру за окном пошёл дождь, шестой день подряд.

Свечу я зажёг рано. Ряд бумажек лежал по краю стола, и сорок пятый год стоял в нём третьим. Я взял чистый лист и вывел на нём вывод.

«Прочерк у нас и пятнадцать лет тишины у них стоят в одном месте».

Строка вышла складная. Короткая, твёрдая, с обоими концами. Я перечитал её и почувствовал то, что чувствую перед крупной ошибкой: спокойствие раньше срока.

Затем я взял перо и зачеркнул её.

Зачеркнул одной чертой, чтобы читалась. Перечёркнутое следует оставлять видимым. Через неделю я забуду, что уже думал об этом, и придумаю заново. Черта проходит, слова уцелели, и сверху видно, что их однажды сняли.

Под чертой я написал вопрос.

«Чем прочерк отличается от тишины?»

Отличий нашлось три. Все три я выписал столбиком. Прочерк сидит в нашей выписке, в родовой цепочке, между вторым и третьим коленом. Тишина растянулась в их перечне, в цепочке права, после года мора. Одна бумага наша, другая ихняя.

Второе отличие было важнее.

Прочерк — это место, где имя не написали. Тишина — место, где пятнадцать лет ничего не записывали. Первое сделано пером, второе не сделано вовсе. Свести их к одному можно при одном условии. Кто-то в сорок пятом решал обе задачи разом.

Третье отличие годилось для проверки.

Прочерк проверяется по домашним бумагам, а они у меня под рукой. Тишина проверяется по чужим книгам, а чужие книги за дверью, которую откроют осенью. Идти надо с того конца, который открыт.

Я подчеркнул третье и отложил перо.

Свести две пустоты в одну хотелось так, что рука написала это раньше, чем я решил писать. Вывод в таком виде выходит у всякого, кто устал и хочет домой. Четвёртая графа у меня пустая со второго дня, и всякую новую пустоту тянет положить в неё же.

Тянет — и потому нельзя.

На столе валялось три листа. Четыре строки про кровный спрос. Ряд бумажек с годами. И этот, с зачёркнутым выводом и вопросом под ним. Четвёртый, с двором и волостью, я убрал в футляр к письму.

Внизу хлопнула дверь, и по лестнице пошли наверх.

Шаги протопали мимо и стихли двумя пролётами выше. Я снял табурет с двери и поставил его обратно к столу. Подпёртая дверь в Корпусе значит больше открытой.

После этого я сел писать Матвею.

Написал коротко: двор и волость получены, поеду смотреть, когда смогу; за короба благодарю; дальше тех трёх не лезь. Про его просьбу дождаться я ответил одной строкой: «Дождаться не выйдет, до пятого четыре дня». Врать ему я не стал и объяснять не стал тоже.

Снёс я его к ночному окошку сам.

Ночную почту принимает тот же старший служитель, что разносит утреннюю, и принимает её из рук в руки, без книги. Я подал, он взвесил конверт на ладони и посмотрел на надпись.

— Это в тот дом, откуда утром пришло?

— В тот самый.

— Скоро вы.

— Спешно.

Он убрал письмо в сумку и завязал её одной рукой, не глядя, — привычно, как завязывают то, что завязывают по два раза

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.